И. И. КЕЛЬСИЕВ — ГЕРЦЕНУ и ОГАРЕВУ

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА к В. Т. КЕЛЬСИЕВОЙ

Публикация П. Г. Рындзюнского

Среди русских революционеров-демократов шестидесятых годов немало лиц, еще не вполне знакомых. Долгое время к таким полузнакомцам принадлежал и Иван Иванович *Кельсиев* (1841—1864) — брат Василия Ивановича Кельсиева, участник студенческого движения 1861 г. в Москве, член общества «Земля и воля», потом — политический эмигрант, погибший совсем молодым, двадцати трех лет от роду, в далекой Тульче. Известны краткие, но очень благожелательные отзывы Герцена об Иване Кельсиеве. Герцен называл его «прекрасным даровитым юношей» (XVIII, 205), «энергическим представителем университетской молодежи» (XVI, 436), а в некрологе писал: «Молодой Кельсиев был человеком с большим талантом и с большой энергией» (XVII, 328). Герцен издали внимательно следил за Кельсиевым, сообщал в «Колоколе» и в письмах к родным о переменах в его судьбе. С большим уважением и любовью отозвался о Кельсиеве и Огарев, уведомляя о его безвременной смерти Елизавету Васильевну Салиас. В ответном письме Салиас, связанная с Кельсиевым давней дружбой, тоже отзывалась о нем как об «энтузиасте», как о «натуре бескорыстной и высокой» («Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 832—834).

Герцен и Огарев согласились на предложение Н. И. Утина уполномочить Кельсиева выступить от их имени на Славянском съезде, который должен был состояться в Константинополе весной 1864 г. («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 612). Это показывает, что они питали к своему молодому соратнику большое доверие и считали его способным в сложной обстановке отстоять их политическую программу. До сих пор о Кельсиеве было известно немногое, но и это немногое позволяло угадывать в нем интересную и яркую фигуру революционера-демократа шестидесятых годов.

Сохранившиеся в «пражской коллекции» пять писем Кельсиева Герцену и Огареву из Константинополя и Тульчи, относящиеся ко второй половине 1863 и к началу 1864 г., подтверждают и пополняют данную выше характеристику. Кельсиев выступает в письмах к Герцену и Огареву как один из незаурядных представителей молодого поколения революционеров-разночинцев, как один из лучших учеников Чернышевского. Письма Кельсиева обогащают нас новым ценным материалом для изучения взаимоотношений так называемой «молодой эмиграции» с испытанными вождями революционно-демократического лагеря.

* * *

Иван Кельсиев (как ранее его брат), окончив в 1860 г. Петербургское коммерческое училище, где он получал образование в качестве стипендиата Московского приказа общественного призрения, поступил по обязательству на службу в этот приказ. Одновременно он как вольнослушатель посещал Московский университет. В 1861 г. Кельсиев был одним из наиболее активных радикальных и демократически настроенных участников студенческого движения. 12 октября 1861 г., когда протестующая толпа студентов стояла на площади перед домом московского военного генерал-губернатора, Кельсиев, в составе делегации из трех студентов, отправился к генерал-губернатору для переговоров и обратно к товарищам уже не вернулся: он был арестован. В 1862 г. Кельсиева судили и выслали в гор. Верхотурье Пермской губернии. Затем,

когда при обыске у студента П. Шипова была обнаружена революционная статья Кельсиева, которую, как выяснилось впоследствии, Кельсиев намеревался отправить в Лондон для опубликования в «Колоколе», он был арестован вновь, на этот раз уже на месте своего поселения. В августе того же года Кельсиев был доставлен жандармами в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, а в ноябре уже находился в Москве, и его допрашивали в шестом департаменте сената. Приговор был вынесен 12 марта 1863 г. Кельсиеву предстояло отправиться обратно в Верхотурье. Но перед отправкой в ссылку он выпилил оконную решетку в Пречистенском «частном доме», где тогда содержался, и бежал. Это произошло 25 мая 1863 г., а спустя два месяца Кельсиев был уже недосягаем для царского правительства — он находился в Константинополе, у своего брата Василия.

Такова внешняя сторона первого периода революционной деятельности И. И. Кельсиева. За короткий срок, насыщенный событиями, он, несомненно, получил серьезные навыки профессионального революционера. Следственное дело, возникшее после второго ареста Кельсиева (см. «Дело П. А. Шипова и И. И. Кельсиева» в книге: «Политические процессы шестидесятых годов», т. I, под ред. Б. П. Козьмина. М.—Пг. 1923), показания молодого революционера на суде, статья для «Колокола», неоконченное и неотправленное письмо из Верхотурья к Салиас, — позволяют довольно обстоятельно познакомиться с его идейным развитием.

Следователям Кельсиев попытался внушить, будто за короткий срок — с осени 1861 по лето 1862 г. — он пережил быструю эволюцию политических воззрений. Он ссылался на бурные события, свидетелем и участником которых был в это, по его выражению, «тряское время». На следствии и на суде молодой революционер держался с большим достоинством и смелостью. Он открыто заявил, что не знает «более чистого и достойного учения, как социализм и республиканская теория...» («Политические процессы», цит. изд., стр. 118), однако им была проявлена разумная осторожность, и некоторые его заявления на суде, несомненно, были продиктованы желанием не увеличивать без нужды меру репрессий.

Как уверял Кельсиев судей, до выступления студентов Московского университета в октябре 1861 г. общественно-политические вопросы не интересовали его и он был углублен в отвлеченные философские построения: увлекался Гегелем, разделяя его «крайний индифферентизм». Перелом произошел якобы перед самым выступлением, в 1861 г. Свидетельством революционных настроений, овладевших им, по его словам, внезапно, является статья, предназначавшаяся для «Колокола». Статья эта действительно написана в самом радикальном духе и с большим юношеским задором. «Резкость выражений — моя стихия...»,—сообщал Кельсиев на следствии (там же, стр. 116). Когда написана эта статья, в точности неизвестно, вероятнее всего, накануне студенческих волнений или же в первые дни после них, чем и объясняется ее ярко выраженный боевой дух.

Как известно, выступление студентов сопровождалось горячими спорами и серьезными трениями между отдельными группами студенчества; более или менее явственно обозначались два крыла — либеральное и радикальное; эти две группы по-разному относились и к администрации и к вопросу о способах действий. В статье Кельсиева большое место отводится обличению людей половинчатых, болтунов, трусливо уклоняющихся от решительных действий, чье участие в движении только вредит ему. Эта тема ставилась во всех последующих политических рассуждениях Кельсиева и постепенно приобретала все более конкретное содержание: Кельсиев обличал либералов, призывал отмежеваться от них, пытался вскрыть их антиреволюционную сущность.

Главным врагом, с которым надо бороться, Кельсиеву представляется самодержавное государство: царь, бюрократы и генералитет. Дворянство, по его мнению, не столь опасно. «Стоит только уничтожить Зимний дворец—и дворянство, этот проводник всех мерзостей, обильно истекающих из государственной помойной ямы, потеряет все свое значение» (там же, стр. 77—78).

Далее статья ставит вопрос о средствах и способах совершения революционного переворота. Здесь возникает вторая основная тема, которая, как и тема борьбы с либерализмом, типична для всех политических высказываний Ивана Кельсиева. Это —

вопрос о роли народной массы в грядущей революции, о степени ее подготовленности к участию в перевороте.

Передовые люди уже выходят на борьбу, рассуждает Кельсиев, но масса народа еще молчит, она не осознала своей силы. Однако народ «можно привести в сознание» или, во всяком случае, добиться от него молчаливого сочувствия революционерам. Ряды революционеров пополняются новыми и новыми выходцами из народа. Жестокое подавление в 1861 г. восстаний, вспыхнувших в ответ на царскую «волю», научило народ понимать, кто его враг, и ослабило веру крестьян в «добродетель» царя. «...Ожесточение народа сильно...» (там же, стр. 80). Существенным, по мнению Кельсиева, является и то, что в войско — «единственный оплот деспотизма» — все более проникают элементы, враждебные существующему строю. Ивану Кельсиеву казалось, что революционный переворот может быть совершен в непродолжительное время: в десять лет все должно быть окончено, причем этот срок он считал максимальным.

Своими показаниями на следствии Кельсиев стремился создать такое впечатление, будто вскоре после того, как им была написана первая статья, политические воззрения его резко изменились, будто бы он даже перестал быть революционером. Однако это не вязалось с откровенно высказанным на допросах непримиримым отношением к царизму и к существующим социально-политическим порядкам, а также с собственным заявлением Кельсиева, что он считает себя социалистом и республиканцем. Пытаясь подтвердить свои слова о якобы происшедшей в нем кардинальной перемене, Кельсиев ссылался на захваченное при аресте письмо к Е. В. Салиас де Турнемир. Однако содержание этого неоконченного письма вовсе не могло свидетельствовать о спаде революционных настроений. Кельсиев и в этом документе продолжал резко высказываться по всем злободневным вопросам политической жизни. В статье, предназначенной для «Колокола», тема обличения либералов подавалась, главным образом, в форме осуждения моральных качеств людей, принадлежащих к определенной психологической группе.— людей половинчатых, нерешительных, нестойких, а в письме к Салиас Кельсиев осуждал либерализм уже как особое идейно-политическое течение. И свою корреспондентку, несмотря на дружеские чувства к ней, он причислял к представителям этого течения. «Я отрекся от верований и убеждений вашей стороны и перешел на сторону радикалов», — заявил Кельсиев Салиас (там же, стр. 111). Содержательнее стал и демократизм Кельсиева: молодой революционер сделал шаг вперед к пониманию социальных отношений, обличая меньшинство, присваивающее продукты труда большинства.

Но наибольшее развитие в письме к Салиас получил второй вопрос, остро интересовавший Ивана Кельсиева, — вопрос о том, как относится к революционному движению народная масса. Наблюдая события общественной жизни, Кельсиев осторожнее, чем в своей статье для «Колокола», решал здесь вопрос о том, когда именно включится народ в активную политическую деятельность. В статье для «Колокола» утверждалось, будто «все логические посылки идей уже лежат в сознании массы» (там же, стр. 80), будто «масса» незамедлительно поддержит выступления отдельных передовых людей и потому переворот можно начать теперь же, а в 1862 г., в письме к Салиас, говорилось о неподготовленности народа к активной и сознательной исторической деятельности, о необходимости предварительно сократить расстояние между народом и его передовыми представителями. Соответственно новому утверждению, вопрос о возможности немедленного переворота снимался сам собой.

Революционный демократ-просветитель, Кельсиев не мог до конца понять объективную закономерность исторического развития и потому ставил степень готовности масс к революции в зависимость главным образом от ее культурного уровня и общеморального воспитания, а не от социально-экономических предпосылок. Следует, однако, подчеркнуть, что свое революционное просветительство Кельсиев сознательно противопоставлял либеральному культурничеству, неизбежно ведущему к примирению с действительностью. «И не надо, следовательно, успокаивать человечество, расхваливая его современный быт, надо от человека требовать большего, чем то, что мы в нем видим...»,— говорил Кельсиев на допросе (там же, стр. 119). Этот тезис вошел непоколебленным и во все последующие политические высказывания Кельсиева.

Побегом из заключения 25 мая 1863 г. начался новый период жизни молодого революционера. Позади остались почти двадцать месяцев тюрьмы и ссылки. Как раз в то время, когда велось второе дело Кельсиева, осенью 1862 г., активизировалась деятельность общества «Земля и воля». Кельсиев отдал себя в полное распоряжение Центрального комитета; первоначально он готовился стать агентом общества на месте ссылки, но затем, тоже с согласия Центрального комитета, решил бежать за границу. Бегство произошло при прямой поддержке Комитета (см.«Материалы для истории революционного движения в России в 60-х годах». Под ред. В. Базилевского. Париж, 1905, стр. 114—116, 129—130 и др.). О том, как совершилось бегство, как Кельсиев попал в Турцию, а также о его первых еще смутных планах дальнейшей деятельности до сих пор было известно лишь из письма к Е. В. Салиас, написанного Кельсиевым вскоре после приезда в Константинополь («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 105—110). Теперь в нашем распоряжении находятся еще два письма Ивана Кельсиева — к жене его брата, Варваре Тимофеевне, где обстоятельства побега и первоначальные планы на будущее описаны очень подробно (см. приложение к настоящей публикации).

Маршрут, избранный Кельсиевым для побега за границу, был определен революционной организацией. Более короткий путь — через Петербург и Лондон — был отвергнут не по соображениям безопасности, как это хотел представить сам Кельсиев в позднейших своих письмах, или, во всяком случае, не только по этим соображениям. Пробыв в Москве после бегства из тюрьмы две недели, Иван Кельсиев отправился в Ярославль, потом на пароходе вниз по Волге и далее —в Таганрог, а оттуда — морем в Константинополь. Путешествовать по многим городам России, задерживаясь в некоторых из них на несколько дней, было, во всяком случае, не более безопасно, чем ехать коротким путем через западную границу. Примечательно, что Кельсиев посетил именно те места, которые он, как и многие тогдашние революционеры, считал главной базой будущего народного движения (Поволжье, Придонье, Новороссия), и те города, где активно действовали местные комитеты «Земли и воли».

Повидимому, Кельсиев неспроста задерживался в некоторых городах, например в Нижнем-Новгороде, где он жил, «ожидая три дня отбытия парохода». Несомненно, что там, как и в других местах, он находился в деятельном общении с людьми, причастными к революционному делу. Из Нижнего-Новгорода он прислал письмо студентам, членам московского студенческого кружка, которые помогли ему бежать. Допрошенный по делу И. Андрущенко А. Ильинский сумел утаить от следственных органов содержание письма Кельсиева, сославшись на то, что оно якобы было «темно и загадочно» («Материалы...», стр. 153). Выяснение конкретных обстоятельств поездки Ивана Кельсиева по России летом 1863 г., закончившейся бегством за границу, существенно для понимания, во-первых, его идейной эволюции и, во-вторых, его последующей революционной деятельности. Оценка перспектив народных движений в разных местах юга и юго-востока России, указание на лучшие или, напротив, менее надежные пути для распространения пропаганды и агитации, критика работы Центрального комитета общества «Земля и воля» как руководителя местных организаций — все это могло стать содержанием публикуемых писем Кельсиева к Герцену и Огареву из Турции главным образом потому, что он опирался на собственные непосредственные впечатления, накопившиеся во время совершенного им опасного путешествия. Кельсиев приблизился к практике революционной работы, и это помогло ему, в частности, избавиться от некоторой абстрактности, присущей его ранним политическим высказываниям.

Понятно, что в первые дни эмиграции у Кельсиева не было еще сколько-нибудь ясных перспектив на будущее, однако письма этих первых дней полны оптимизма. Кельсиеву хотелось возможно скорее включиться в практическую революционную работу. В первые же дни эмиграции он написал письмо Центральному комитету «Земли и воли», посвященное критике недостатков в работе Комитета (письмо это до нас не дошло). Кельсиев стремился в центр русской революционной эмиграции — в Лондон; Константинополь был для него лишь промежуточной станцией. Сам он объяснял свое стремление попасть в Лондон желанием жить там же, где, как он предполагал, жил его брат, но этому объяснению противоречит то обстоятельство, что и после

неожиданной встречи с братом в Константинополе он попрежнему продолжал стремиться в Англию. Однако, как раньше ради продолжения революционной пропаганды Кельсиев готов был отказаться от побега из тюрьмы и отправиться на место ссылки в Верхотурье, предоставляя решить этот вопрос Центральному комитету «Земли и воли», так и теперь он самоотверженно отказался от переезда в Лондон и остался в Турции, желая принести как можно больше пользы революционному делу.

Для того чтобы правильно представить себе обстановку, в которой оказался Кельсиев, следует иметь в виду отношения, сложившиеся у него с братом Василием, тоже политическим эмигрантом. Братья, как видно, помогали друг другу, но идейной близости между ними не было и не могло быть. Ко времени встречи братьев в Константинополе Василий Кельсиев находился уже во власти сомнений, вскоре приведших его в лагерь реакции (см. его «Исповедь» в т. 41-42 «Лит. наследства» и письма к Герцену и Огареву, публикуемые в настоящем томе); столкновение между Василием Кельсиевым и его полным революционной энергии братом было неминуемо. «Тогда он был весь проникнут так называемым нигилизмом, хотя не в такой безобразной форме, до которой доходили другие, и горячо защищал возможность привести в исполнение все, что было задумано и нами и нигилистами, — рассказывал впоследствии о первых днях жизни брата в Турции Василий Кельсиев. — Мои отрицания глубоко оскорбляли его юную, верующую душу, и он настаивал, чтобы я продолжал начатое. Я не мог, — он сам взялся за работу и стал писать письма влиятельным старообрядцам с изложением наших стремлений» («Исповедь», цит. изд., стр. 370). Естественно, что споры между братьями не замолкали и после их переезда в Тульчу. Отзвук этих споров слышится в письме Василия Кельсиева к старому его товарищу Д. Аверкиеву («Русская старина», 1882, № 9, стр. 635).

Сопоставление идейной эволюции двух братьев напрашивается само собою; оно тем более оправдано, что коренные расхождения между ними отразили известную дифференциацию в том общественном круге, к которому оба они принадлежали прежде и представители которого еще недавно действовали единым революционным строем.

К сожалению, мы не имеем возможности с полной точностью датировать корреспонденцию Ивана Кельсиева: сам он дат на своих письмах не проставил, а мы не располагаем достаточно подробными биографическими сведениями о нем, которые могли бы помочь нам эти даты проставить. Однако по основным этапам единственного года, проведенного Кельсиевым за границей (года, который оказался в его жизни последним), пять публикуемых нами писем можно распределить с достаточной уверенностью. В Константинополь Кельсиев приехал 14/2 июля 1863 г. (эта дата неизменно повторяется во всех первых письмах Кельсиева из Константинополя; указанная М. Клевенским в комментариях к «Исповеди» Василия Кельсиева дата приезда Ивана Кельсиева — 27 июля ст. ст. 1863 г.— очевидно, неверна). Пожив там некоторое время вместе с братом, а потом вместе с братом и его женой, Варварой Тимофеевной, Иван Кельсиев перебрался в Тульчу. (Варвара Тимофеевна приехала в Турцию с маленькой дочерью,—по указанию Герцена в письме к М. Мейзенбуг—XVI, 466, — 29 августа н. ст. 1863 г.). Обосновался Иван Кельсиев в Тульче ранее Василия. К сожалению, точное время переезда им нигде не указано, а между тем оно очень важно для датировки писем. Иван Кельсиев переехал в Тульчу приблизительно во второй половине сентября 1863 г.: в своем первом письме из Тульчи он указывает, что не виделся с Василием уже $2^1/_2$ месяца; в следующем письме, относящемся к тому времени, когда Иван Кельсиев жил еще один, описываются такие события, которые не могли произойти за короткий срок (например, устройство молоканской школы); брат же его отправился в Тульчу из Константинополя 7 декабря 1863 г.

На основании этих приблизительных расчетов мы датируем письма Ивана Кельсиева из Константинополя так: первое письмо, адресованное Герцену, написано, повидимому, в первой половине сентября 1863 г. (Герцен уехал из Лондона в Италию 15 сентября), второе — Огареву — во второй половине сентября того же года.

Как сказано выше, в Константинополь Кельсиев явился полный необычайной энергии и оптимизма. Его первое, весьма содержательное письмо к Герцену проник-

нуто революционным патриотизмом, глубокой верой в народ. В этом письме Кельсиев высказывает убеждение, что формулы либералов не в состоянии увлечь народ, потому что эти формулы «только в больном мозгу оскопленных нравственно эксплуататоров могут родиться».

Как видно из этого письма, Кельсиев постепенно осознавал зависимость общественных взглядов и политических программ от материальных интересов различных групп населения. Дворянско-буржуазные течения характеризуются и осуждаются им теперь не с их моральной стороны, как раньше. Теперь он вскрывает ограниченность и нереальность либеральной программы («формул», по его терминологии), подчеркивая, что эта программа не выходит за пределы экономических интересов дворянина и буржуа, а потому неминуемо отделяет либералов от народа, который тоже борется за свои реальные интересы. Замечания Кельсиева о материальной основе политических программ, выдвигаемых представителями эксплуататорских групп населения в противоположность идеям подлинно демократическим, свидетельствуют о том, что в понимании классовой экономической основы идейно-политической борьбы он сделал крупный шаг вперед по пути, проложенному учителем всей революционно-демократической молодежи, Н. Г. Чернышевским.

Важнейшее явление в русской общественной жизни шестидесятых годов — размежевание лагерей революционно-демократического и либерально-буржуазного, быстро переходившего на открыто реакционные позиции,— вот основной стержень политических рассуждений Кельсиева в его первом письме Герцену, написанном в эмиграции. Оно не могло не заинтересовать издателей «Колокола».

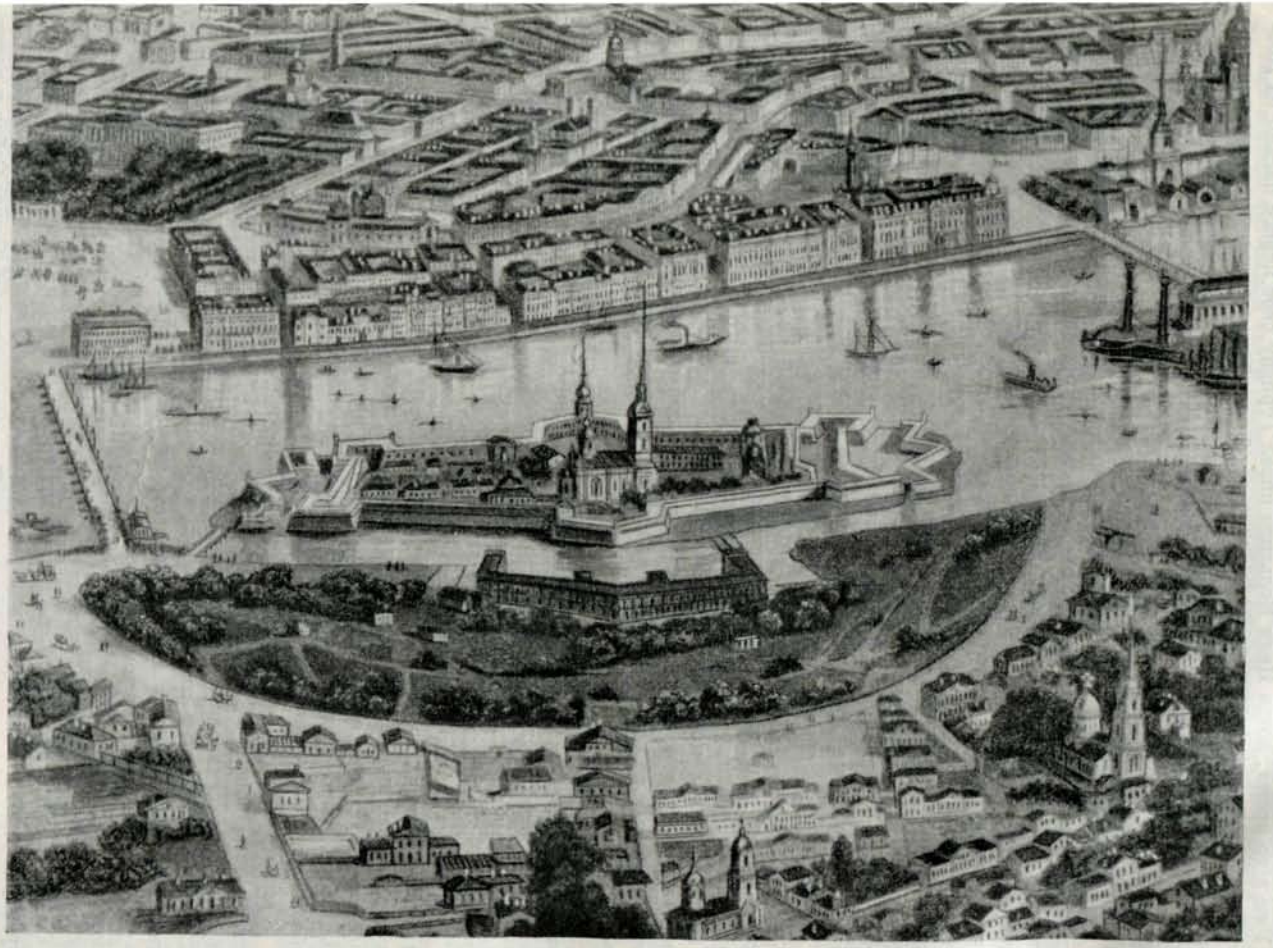
Кельсиев призывал Герцена и Огарева более четко определить свою позицию по отношению к обоим противостоящим лагерям. «„Колокола“ место не в немецких книжных лавках, — писал Кельсиев Герцену в сентябре 1863 г. (письмо № 1), — место „Колокола“ в семинариях, корпусах, институтах и университете. Там он у места, там он родит дело, а в дворянских гостиных все, что он может родить, так это разве один хор, да теперь он и хора не родит...». Призывая Герцена не делать уступок либералам, Кельсиев указывал на их слабость, на их оторванность от народа. «Мы же социалисты и крайние сторонники народа, мы революционеры», — так сам Кельсиев определял свою идейно-политическую позицию в это время.

Замечателен анализ расстановки основных сил в общественной борьбе, сделанный Кельсиевым. Молодой революционер разъясняет, что заигрывание с либерализмом со стороны дворянства и буржуазии обусловлено временными обстоятельствами и происходит лишь постольку, поскольку некоторое усовершенствование существующего строя может способствовать обогащению дворян и буржуа. Революция невыгодна дворянину и купцу, они на нее не пойдут. А отсюда следует и необходимость определенной политической тактики: нельзя проповедовать республику во дворцах, а социализм — на «бирже»: «с нами пойдет народ, а кроме народа мы никого не поведем за собою».

Большое место в письме Ивана Кельсиева к Герцену занимают вопросы о том, как расширить пути доставки агитационной литературы из-за границы в Россию и какого типа издания должна выпускать Вольная русская типография. Расширить публикацию доступной для широких народных кругов агитационно-пропагандистской литературы — вот за что ратует Иван Кельсиев. Выпуская одни только такие книги, как «С того берега» или «За пять лет», указывает он, нельзя привлечь на свою сторону народ. Подобные требования, адресованные Герцену, были характерны для многих представителей революционной «молодой эмиграции» того времени.

Письмо Ивана Кельсиева к Герцену по своей общей идейно-политической направленности и строгой принципиальности примыкает к „Письму из провинции“ Русского человека», вышедшему из круга Чернышевского. Кельсиеву принадлежит видное место среди тех представителей «молодой эмиграции», которые помогли Герцену в годы трудных испытаний преодолеть колебания в сторону либерализма и остаться на революционно-демократических позициях.

Вопрос о старообрядцах и приверженцах других преследуемых вероучений, вопрос о возможности вовлечь их в широкое общественное движение тоже занимал большое место в письмах Ивана Кельсиева в Лондон.



ВИД НА ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ

Литография, 1860-е гг.

Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по фотографии

Исторический музей, Москва

В «Исповеди» Василий Кельсиев рассказал, что брату Ивану пришлось заменить его в сношениях со старообрядцами Не следует думать, однако, что идею установления связи со старообрядцами Иван Кельсиев воспринял от Василия Кельсиева; она давно была распространена в революционной среде.

Уже в то время, когда Иван Кельсиев писал Герцену свое первое письмо из Константинополя, была ясна двойственность своеобразной среды приверженцев «старой веры». С одной стороны — книжники, главы сект и толков; в них Иван Кельсиев видел врагов, потому что они являлись твердыми «союзниками существующего порядка»; окостеневшие догматы были им дороже жизни. С другой стороны — рядовая масса сектантов и старообрядцев; защита догматов веры для них не имела большого значения, они руководствовались лишь непосредственными материальными интересами. (Иван Кельсиев формулировал это положение несколько упрощенно, в духе распространенного тогда в демократических кругах механистического материализма.) Тактика революционеров, по мнению Ивана Кельсиева, должна была исходить из этого коренного различия между «книжниками» и «простолюдинами-раскольниками». Иван Кельсиев не отказывался от того, чтобы пытаться воздействовать на оба полюса. В «книжниках» можно приобрести себе союзников, но «на первую только половину войны». Если же не оказывать непосредственного воздействия на демократические круги старообрядчества, то во второй половине войны они будут увлечены «книжниками», которые к этому времени станут врагами революции, «и реакция выйдет на славу».

Важнейшую задачу пропагандиста-революционера Кельсиев видел в работе среди «простолюдинов-раскольников». При этом он надеялся не только оторвать массу от консервативной верхушки старообрядчества, но рассчитывал на нечто большее: «Действуя таким образом, растолковав простому народу все выгоды нашего полного учения, мы подготовим в самом расколе оппозицию против его строгой и окостенелой догматики». Таким образом, Кельсиев стоял на правильной революционно-просветительской позиции: в борьбе за свое освобождение народные массы будут разрывать религиозные путы.

Иной была позиция Василия Кельсиева. Для него старообрядчество до конца оставалось народным общественным течением. Когда же он столкнулся с глубоким консерватизмом верхушки старообрядцев, разочарование послужило ему источником для реакционной клеветы на весь народ и было использовано им как моральное оправдание своего перехода в стан реакции.

Помимо сказанного, то же письмо Ивана Кельсиева Герцену содержит соображения о практических вопросах революционной работы, в частности — об организации конспиративных путей для ввоза агитационной литературы в Россию, об издании «Колокола» и «Общего веча», о подготовке старообрядческого Собора. Все последующие письма Кельсиева в Лондон, в сущности, лишь развивают отдельные положения этого наиболее содержательного из его писем.

В письме Огареву из Константинополя Кельсиев ставит вопросы текущей работы, в том числе — вопрос об организации типографии в Тульче. Наиболее интересны его соображения о предполагавшемся старообрядческом Соборе. Уже летом или осенью 1863 г., в ту пору, когда писалось письмо к Огареву, у Кельсиева возникли серьезные сомнения в возможности и целесообразности созыва Собора. Однако вопрос о Соборе все-таки не был снят, и потому Кельсиев счел нужным высказать свои соображения о подготовке к нему. В связи с подготовкой к созыву Собора Кельсиев намерен был осуществить свою идею воздействия на оба полюса старообрядческой среды. Если на Соборе будет присутствовать десять-пятнадцать человек начетчиков и заправил старообрядчества, общение с которыми только компрометирует революционеров, полагал он, Собор окажется чуждым массе. Поэтому «нужно две вещи: Собор и волнение в старообрядческой массе, которое выказывало бы участие всех старообрядцев в этом Соборе».

Сказанное Кельсиевым о Соборе еще раз подчеркивает демократизм молодого революционера, его стремление активизировать широкие народные круги.

Два первых (недатированных) письма Ивана Кельсиева из Тульчи относятся к ноябрю или к началу декабря 1863 г. (писались они, когда Василия Кельсиева еще

не было в Тульче, а приехал он туда в декабре 1863 г.). Последнее письмо Ивана Кельсиева из Тульчи написано весной, вероятно в марте следующего года. 25 марта 1864 г. Герцен сообщал сыну, что через Кельсиева им получена записка от Эбермана для передачи Левестаму (XVII, 141). Это — та самая записка, о которой сообщал Иван Кельсиев в заключительной части своего последнего письма. (В письме Герцена сыну речь идет, правда, о Василии Кельсиеве, но Иван Кельсиев переслал записку от имени обоих братьев.) Все три письма, отправленные Иваном Кельсиевым из Тульчи, адресованы, видимо, Огареву.

Письма конца 1863 г. написаны после длительных и тяжелых испытаний, перенесенных Кельсиевым на новом месте. Его удручали не столько личные невзгоды и тяжелая материальная зависимость от чуждых ему людей, торгашей и попов, сколько вынужденный перерыв в революционной работе, которой он посвятил всю свою жизнь. Тяготила его и затруднительность сношений с Россией. Более всего удручала Ивана Кельсиева чрезвычайная культурная отсталость зарубежных старообрядцев, дух рабского подчинения бедных богатым, младших — старшим. С большой остротой изобличал он быт добруджских старообрядцев. В письмах и «Исповеди» Василия Кельсиева такой выразительной картины старообрядческого быта мы не найдем.

В противоположность Василию, Иван Кельсиев не призывал к примирению с действительностью; он попрежнему относился к жизни активно; он продолжал придерживаться того принципа, который был сформулирован им еще во время следствия: «надо от человека требовать большего, чем то, что мы в нем видим». Однако для него характерны высказывания против революционного авантюризма: «роскошь» революционного переворота доступна, по его убеждению, лишь «после будничного и черноработчего занятия — сбора медных грошей», то есть после постепенной подготовки.

Несколько неожиданно в письмах Кельсиева звучат слова о том, что «аристократию» он предпочитает народу. Однако такая фразеология отнюдь не свидетельствует, разумеется, об отходе от демократизма.

«Мой идеал — аристократическая республика, в которой *все* аристократы, а черни *вовсе нет*» (подчеркнуто мною.—*П. Р.*). Эти слова Ивана Кельсиева еще раз убеждают нас в том, что он попрежнему твердо занимал позицию последовательного революционера-демократа, просветителя, призывая активно вмешиваться в жизнь, переустраивать ее революционным путем. Доказывая необходимость распространять «аристократизм», он призывал лишь к широкому распространению в народе культуры и просвещения.

Демократическая позиция Ивана Кельсиева определила его углубленный интерес к народной жизни. В своих письмах из Тульчи он отмечал факты расслоения крестьянства, рождение нового типа противоречий в крестьянской среде. Разумеется, выводы, сделанные им, не могли выходить за пределы того понимания общественных вопросов, какое было свойственно передовым людям его времени. Но несомненно, что высказывания Кельсиева об «аристократии» были вызваны желанием бороться с идеологией тех писателей и общественных деятелей, чье преклонение перед «народностью» являлось не чем иным, как преклонением перед темнотою, забитостью, некультурностью народа.

Борьба с такого рода тенденциями в ту пору была весьма своевременной: они являлись одной из распространенных форм перехода интеллигенции из революционного лагеря в реакционный; пример такого перехода находился у Ивана Кельсиева перед глазами — Василий Кельсиев с его культом «народности» в реакционно-славянофильском духе.

В первом письме Огареву из Тульчи Кельсиев сообщает и о своих связях со старообрядцами. Он в это время несколько изменил отношение к их верхушке. В противовес сказанному в более ранних письмах, он считал теперь, что «книжники более либеральны, чем старообрядец из массы». Такая неправильная мысль могла явиться у Кельсиева, во-первых, под влиянием тяжелого впечатления от быта, материальной и идейной порабощенности рядовых старообрядцев и, во-вторых, под влиянием радушного приема, оказанного ему в местном центре старообрядцев, в Славском скиту близ

Тульчи. Кельсиев не знал о той двуличной политике, которую вел по отношению к нему, как к представителю революционных кругов, живший в этом скиту старообрядческий епископ Аркадий (письмо Кельсиева епископу Аркадию было передано епископом русскому консульскому агенту в Измаиле—см. XVII, 282—285). Правда, Кельсиев отчасти догадывался и сам, что несколько преувеличил «свободомыслие» старообрядческих монахов-начетчиков, уверяя, будто они не будут мешать революционному делу. Несомненно, во всяком случае, что при более длительном и близком знакомстве с жизнью старообрядцев разных толков и разных социальных кругов Кельсиев окончательно уверился бы в том, что старообрядчество по своей глубоко реакционной сущности не может стимулировать общественную активность и сознательность.

Существенные подробности об организации в Тульче «фаланстера» — общины русских эмигрантов — передал Кельсиев в своем последнем письме. Задачи общины видел он совсем не в том, в чем видел их Василий Кельсиев. Не узко культурнические цели, а активно революционные были для Ивана Кельсиева на первом плане.

Как известно, Герцену приходилось энергично отбиваться от лжи и клеветы, распространявшейся Катковым и его сподвижниками по поводу «агентства Герцена в Тульче». Письма Ивана и Василия Кельсиевых показывают, чем в действительности была колония революционных эмигрантов в Добрудже. Революционный «фаланстер», в сущности, находился еще в проекте, и цели его, четко сформулированные Кельсиевым, разумеется, ничего общего не имели с теми целями, которые приписывали ему клеветники.

За исключением одного чернового, не имеющего конца письма Огарева к Кельсиеву (предполагаемая дата: апрель 1864 г. — «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 612), другие письма к нему Огарева и Герцена исследователям неизвестны. Из писем же самого Кельсиева видно, что от лондонских друзей он получал призывы к бодрости и наставления в работе, что он и его корреспонденты обсуждали программу и тактику общества «Земля и воля». Кроме того, Герцен и Огарев оказывали Ивану Кельсиеву, так же как и его брату, денежную помощь.

Кельсиев всеми мерами старался поддерживать связь с Центральным комитетом общества «Земля и воля» и с примыкавшими к нему московскими и другими кружками. В письмах в Россию он критиковал руководство и высказывал свои соображения о методах действия революционного общества.

Письма Кельсиева в Лондон позволяют установить, что́ именно рекомендовал он в этих не дошедших до нас посланиях комитету «Земли и воли»: он призывал укрепить связи с народом и усилить контакт с революционной эмиграцией, стремился поддержать радикальные настроения в обществе, побудить его к действию.

Иван Кельсиев, как и его брат, был сдержан в своих письмах, опасаясь выдать русскому правительству сведения о работе революционеров в России. Поэтому мы из публикуемых писем, к сожалению, можем узнать лишь немногое о связях с комитетом Ивана Кельсиева в период его эмиграции, но ценен сам по себе факт, выясняющийся из этих писем, что сношения между ними не обрывались.

Кельсиев, один из лучших представителей нового поколения революционеров-разночинцев, проявлял глубокое понимание преемственности идей и борьбы революционных поколений. Он критиковал позиции издателей «Колокола», но критика эта носила искренний дружественный характер; она не только противопоставляла старой программе «Колокола» новый строй мыслей, характерный для нового этапа революционного движения, но в то же время содействовала сохранению единства в революционных рядах.

Смерть Кельсиева (он умер в Тульче от тифа 21/9 июля 1864 г.) подробно описана его братом («Исповедь», стр. 380—381; см. также стр. 195—196 настоящего тома). Герцен и Огарев считали необходимым собирать материал для биографии безвременно погибшего революционера, справедливо полагая, что жизнь его может служить поучительным примером для всех, кто посвятил себя революционному делу.

Письма печатаются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 84 и 153).

1

ГЕРЦЕНУ

(Константинополь, сентябрь 1863 г.)

Душевно благодарю вас, многоуважаемый Александр Иванович, за ваш привет[1]. Живую силу, разумеется, грех было не спасать; но сила мыслима только в деле, и критерий ее — количество сделанного; где больше сделано, там сила больше, лучше; в этом и было сомнение: сомневался — где больше сделать можно. Вы спрашиваете: что я намерен делать. Прямо ответить на это не могу, потому что особенного плана, отличного от всех прочих, не имею; буду делать пропасть всяких дел, а что именно — это скажет минута. Пока написал к Центральному комитету большое послание, в котором я изложил кое-что о том, что я думаю о его деятельности и что, по моему мнению, должно в настоящее время занять его деятельность[2]. С братом мы стараемся об устройстве издания староверческих книг; написали Гонч⟨арову⟩ подтверждение о созвании Собора[3], причем просили сообщить имена и адресы всех влиятельных в расколе лиц; когда О. С. Гонч⟨аров⟩ напишет нам, о чем просим, тогда примемся за составление посланий к главам сект. Я жду первого удобного случая, чтобы отправиться на границу и устроить постоянный контрабандный путь. Быть может Центральный комитет согласится на печатание популярных брошюр в Константинополе, о чем передал ему свои соображения; тогда издания эти пойдут двумя путями, совершенно соответственными самому назначению книг для народного чтения: один путь через сухопутную турецкую границу, до самой Москвы, по непрерывному ряду старообрядческих селений; другой — через Таганрог по Дону и Волге, для распространения между православным и старообрядческим населениями Поволжья. Я не могу пока согласиться с вами, чтобы путь через Константинополь был не один из самых удобных. Что до «Колокола» — вы, пожалуй, правы, но для «Общего веча» и изданий для простого народа путь через Турцию — естественный путь, ибо Турция ближе, чем другая какая земля, к Поволжью и к цепи старообрядческих селений, идущей от Москвы к юго-западной русской границе, т. е. ближе, чем какая-либо другая страна к местностям, на которые мы привыкли смотреть, как на носящие в себе наибольшее перед другими количество революционных элементов. Если бы и наш взгляд на эти местности не выдерживал критики, то, во всяком случае, оставлять их без внимания не следует; а если так, то не следует оставлять без внимания путь через Константинополь. «Колокол» же я прошу у вас потому, что, как мне кажется, иного постоянного пути, кроме того, который я предлагаю, не имеется; почему же, в самом деле, уже с год тому времени, как в Москве утвердилось мнение, что «Колокол» прекратил свое издание еще в прошлом году? Когда будет заведено постоянное сношение с Москвой, так сказать — своя собственная почта, то мы с братом будем au courant* всего, что делается в России, и тогда нам работы будет гибель, потому что, верно, ко всему, что будет затеваться там, у нас найдется привязка. — Мне хотелось бы вступить в сношение с киевскими малороссийскими кружками и предложить им свои услуги по части книгопечатания и вообще завести с ними переписку.

Позвольте мне сделать вам несколько замечаний по поводу ваших сетований о настроении умов в России и того, что вы говорите о «новом закале» и «новом profession de foi» **[4]. Я никогда не рассчитывал на ту массу, которая открыто высказывает теперь все свое нравственное безобразие. Эта масса и прежде была, как и теперь есть, нашим прямым

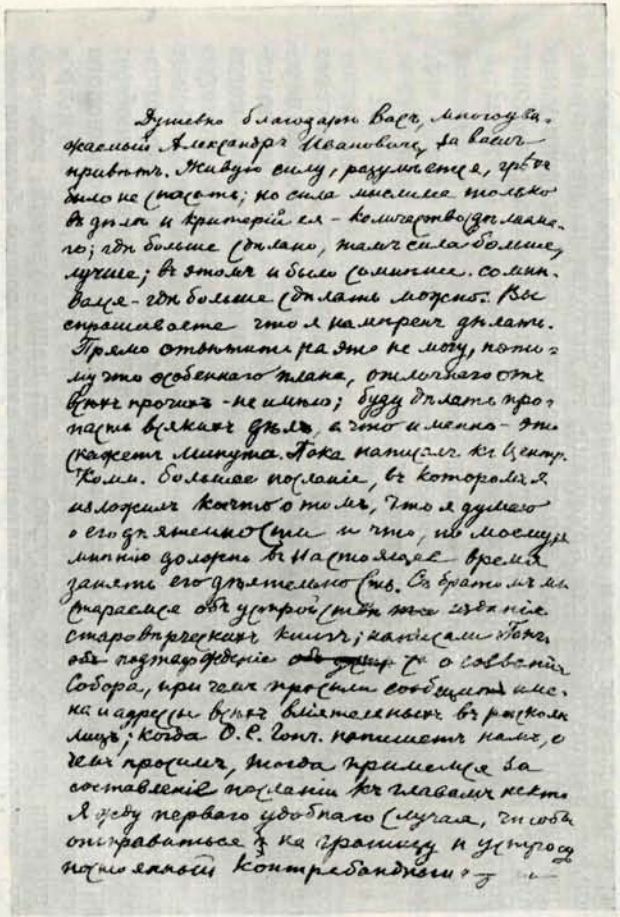
---

* в курсе (франц.).
** изложении своих взглядов (франц.).

врагом. С одной стороны, это масса служащего и эксплуатирующего народ дворянства, с другой — это купечество и вообще все книжники, не пристающие к тому, что вообще понимается под именем образованного меньшинства. Мы же социалисты и крайние сторонники народа, мы революционеры. Что же может быть общего между нами и теми, которых я назвал выше? Мы никогда не могли быть с ними, и если они были, повидимому, на нашей стороне, если они либеральничали и непрочь были почитать «Колокол», то это только по непониманию дела и по какому-то суеверному преклонению перед вашим авторитетом. Весь либерализм для них был только предметом разговора и делом моды. В России давно стали замечать это, да и давно стала высказываться сущность этого либеральничанья. Прочтите последние этюды Щедрина о глуповцах [5]; глуповцы — это все те, которые кричат теперь о величии России и вопят против поляков. Высказалось с самого начала, что единственная жизненная связь глуповского либерализма с жизнью заключалась в разных мелочных улучшениях администрации, способных облегчить обогащение дворянства и купечества и комфорт жизни; так что жизненная связь этого либерализма была в *личных* выгодах дворянства и купечества. Помещики стали говорить, что «джентри английскую нужно завести в России», стали читать Б⟨*нрзб.*⟩, занялись агрономией, технологией etc., etc. Хотя аристократический и буржуазный принципы не были еще сознаны этим либерализмом, но уже с самого начала подразумевались; когда говорилось о благе любезного отечества, то под этим подразумевалось всегда свое личное благо. Доказательством, что с нами были потому только, что не понимали нас, служит то, что многие читали и «Современник» и «Русский вестник» одинаково сочувственно и ничего решительно не понимали, когда им кто-нибудь говорил о диаметральном различии двух этих журналов. Дворянин видел в нашем либерализме надежду на *свое* лучшее будущее, промышленник — также. Но ни малейшей жертвы нельзя было ждать от них в пользу общего дела, ибо в общем деле они только свое личное благо видели. Только такое отношение к нашей проповеди было в них жизненно, все остальное были только пустые слова, один глупый разговор. Эта другая половина отношения к нашей проповеди была до крайности удобоподвижна и непрочна, по самой невыработанности идеи: кто что скажет, то и повторяют, лишь бы в сказанном тон был чуть-чуть повыше тона, употребляемого в обыденной речи; что говорилось высоко и что вступало в сферу общих вопросов,—принималось на веру.

Разумеется, эта масса не могла сойтись с нами не в словах, а в деле. Революция всякая невыгодна купцу и дворянину, ведущему купеческие обороты; демократическая революция — еще больше, а про социальную — что и говорить. Жизненно слиться с этой массой мы не могли: мы проповедовали республику во дворце, а социализм на бирже. Масса идет всегда за личные интересы, и *эта* масса с нами идти не могла. С нами пойдет и масса, только другая: та масса, личным интересам которой мы льстим; с нами пойдет народ, а кроме народа мы никого не поведем за собою. Это вперед можно было предвидеть.

Поэтому я и думаю, что «Колоколу» не нужно ни нового закала, ни новой profession de foi. Нам не нужно вовсе соединения с этой массой, потому что это—наш враг, это именно то, против чего мы боремся. Нам дворян как дворян, купцов как купцов — не нужно, потому что мы ни за дворян, ни за купцов. От наших замыслов и купцы и дворяне теряют, следовательно масса купцов и дворян *не будет* на нашей стороне. Все, что можем мы взять с собою из этой массы, это только несколько исключительных личностей, настоящих борцов идеи, людей, которые не задумаются идти с нами, хотя сообщничество с нами все у них отнимает и взамен ничего не дает, кроме чистой совести.



Душевно благодарю Васъ, многоуважаемый Александръ Ивановичъ, за Вашъ привѣтъ. Живую силу, разумѣется, гдѣ бы ни была, но сила мыслящая только въ дѣлѣ и критеріи ея — помогаетъ дѣлающему; гдѣ больше сдѣлано, тамъ сила больше, лучше; въ этомъ и было сомнѣніе. Сомнѣваться — гдѣ больше сдѣлать можно. Вы спрашиваете что я намѣренъ дѣлать. Прямо отвѣтить на это не могу, потому что особеннаго плана, отличнаго отъ всѣхъ прочихъ — не имѣю; буду дѣлать то, что на дѣла великаго дѣла, а что именно — это скажетъ минута. Пока напишу къ Центр. Комм. большое посланіе, въ которомъ я изложу кратко о томъ, что я думаю о его дѣятельности и что, по моему мнѣнію, должно въ настоящее время занять его дѣятельность. Въ братомъ мы стараемся объ устройствѣ гдѣ-нибудь старовѣрческихъ книгъ; какъ сами Вы, обѣ подтвержденіе ~~объ~~ о соборѣ, при чемъ просили сообщить имена и адресы всѣхъ вліятельныхъ въ раскольномъ мірѣ; когда Д. Р. Гонч. напишетъ намъ, о чемъ просилъ, тогда примемся за составленіе посланій къ главамъ сектъ. Я уѣду первого удобнаго случая, чтобы отправиться на границу и устроить тайную контрабандную

не во имя нашего ученія, а во имя того, что мы изъ нашего ученія проповѣдуемъ чрезъ доктрину, принимаемую ими предсѣдателями. Какъ доказать всѣ дѣла, если послѣдніе не позволяютъ подходящихъ къ нимъ обсужденія? Какъ сектъ, которыя не могутъ, какъ теперь, свободно высказываться, а только прозябаютъ, какъ сектанты, предсѣдательствовать имъ? Какъ можно ихъ назвать предсѣдателями, отличающимися отъ насъ только тѣмъ, что они отличаются отъ насъ. Поэтому нужно начать дѣло не снизу, но и сверху, но и съ низу? Нужно вступить въ непосредственное сношеніе съ массой сектантовъ. Тогда мы будемъ вольнѣе; во первыхъ, тамъ досмотръ не такъ строго извѣстенъ, во вторыхъ, тамъ сильнѣе, материальные интересы громко говорятъ, тамъ дольше. Простой народъ гораздо больше слушается голоса, чѣмъ идеи, какова бы эта идея не была. Пропаганда всегда должна идти между простымъ народомъ; нужно будетъ только предосторожно на простолюдиновъ-раскольниковъ обращать вниманіе, чтобы на отдѣльныхъ простолюдиновъ дѣйствуя, высказывъ образомъ, растолковывъ простому народу выгоды нашего полнаго ученія, мы подготовили въ самомъ расколѣ отношенія противъ его строгой и окостенѣлой догматики.

Кончаю писать обѣ не высокопарныхъ словахъ. Примите въ какъ отвѣтъ на вашъ, с такое и какое отвѣтъ на Профессора.

Гонч. снова напомнилъ насъ. Кланяется вамъ вмѣстѣ. Онъ привелъ новыхъ старообрядцевъ, пишущихъ адресъ къ царю о вѣротерпимости. Адресъ раскольн. этотъ адресъ уже подписанъ въ немъ пропасть, чтобы царь на дѣлѣ показалъ (вѣсть добрую) старообрядцамъ. а не только на словахъ. Гонч. будетъ, что такой же тоже адресъ по товариществ. и въ Россіи. Вскорѣ начнемъ новаго кромѣ того, что отвѣтъ на наши письма къ Сентяпіо. Письма изъ Россіи не получаемъ, ~~и~~ не знаю, что и думать.

Перебойте отъ меня поклонъ г. Бѣляеву. Скажите что я съ непритворнымъ удовольствіемъ о З. К. В. Хочется было бы радъ, если бы онъ доказалъ мнѣ, что я ошибся. Очень прошу писать къ нему до полученія вашего письма.

Преданный вамъ г. Иванъ Кельсіевъ

Брать было разговаривалъ, но теперь нетерпитъ отправляться и просилъ васъ мнѣ передать вамъ его поклонъ.

АВТОГРАФ ПИСЬМА И. И. КЕЛЬСИЕВА к ГЕРЦЕНУ ОТ СЕНТЯБРЯ 1863 г.

Листы первый и последний

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Итак, только на передовых людей должен рассчитывать «Колокол». Он должен быть их отголоском и руководителем, он должен направлять движение. Для таких людей не нужно нового закала: они любят голую идею, им не нужно подслащивать горькое лекарство сладенькими сиропами. А если новый закал будет, если требования будут умереннее и призыв сдержаннее — вы снова приобретете, может быть, массу, но спутаете себе ноги...

Вы говорите, что «Колокол» мало расходится; я это понимаю, потому что вижу то, о чем сказал выше. Но ведь для того, чтобы нас принимали, нам нельзя переменить нашей проповеди: только до тех пор и нужно, чтобы нас принимали, пока мы то проповедуем, что проповедовали до сих пор... Я вижу другое средство распространять «Колокол» в том же количестве, в котором он шел до сих пор, если еще не в большем: тут не новый закал нужен, тут нужны просто контрабандные пути. Будьте уверены, что в России «Колокол» разойдется быстро, — вся беда в том, что его нет в России. Вы ничего не потеряли, если большинство шляющихся за границей богатых бар не интересуется более вашим журналом: что нам в этих господах, от Назарета приидет ли что-либо доброе! Если прежде они и читали его, то, поверьте, семя упадало на каменистую почву. «Колокола» место не в немецких книжных лавках, место «Колокола» в семинариях, корпусах, институтах и университете. Там он у места, там он родит дело, а в дворянских гостиных все, что он может родить, так это разве один хор, да теперь он и хора не родит...

Но, может быть, нужно усыпить врага, не подавать ему повода к энергическому противодействию? Может быть, это и будет нужно, только не теперь. Пока наши народные вожди, проникнутые такой горячей любовью к отечеству, покоряют Русь только на карте, только указательным перстом. В России только одна живая и хоть что-нибудь делающая партия — это наша; только для нас идеи и пропаганда ее—нечто вроде профессии. Все остальные замкнуты своими кружками, не выходят из них; пропаганды в народе они не ведут, да и что они скажут народу? Энергии у них нет, потому что идея их такова, что энергии при ней не полагается. Может быть, впоследствии, дела пойдут иначе, а пока — чего их бояться?

То превыспренний конгресс
Двух графинь оглохших
Да двух старых баронесс,
Чопорных и тощих...[6]

«Колокол», однако, немыслим один, без «Общего веча», как успех движения немыслим без массы. «Колокол» пусть звонит только для передовых людей, на массу же пускай действует «Общее вече». Только, по моему мнению, его нужно распространить, а то оно такое жиденькое, когда в нем, можно сказать, вся суть. «Общее вече» должно вести настоящую войну, а «Колокол» только вербовать новобранцев в его армию. Может быть, следует оставить «Общее вече» специальным раскольническим органом; только тогда необходим новый журнал для простого народа вообще; этот журнал пусть вдается во все мельчайшие подробности крестьянского быта, пусть толкует обо всем, что составляет жизнь простолюдина, и проводит в понятия его все, что доступно ему из наших учений, все, что, по-нашему, должно заменить и исправить существующий беспорядок.

Здесь нужно кой о чем приумолчать. Но избави бог прямо говорить против того, к чему мы стремимся. Нужно только уметь умалчивать и недоговаривать. И к чему, в самом деле, говорить мужику о боге, о внутренней самостоятельности духа, о нелепости идеи юридического закона, власти и т. д.; разве не найдется гибели других предметов, о которых мы можем говорить мужику и которыми последний не будет шокирован?

Но про нас могут насплетничать народу: они, дескать, властей не признают, они не признают даже... На это есть такое средство: «Общее вече» и другая популярная газета могут издаваться за печатью Центрального комитета, «Колокол» же пусть издается, как издавался до сих пор. Если потом, на основании напечатанного в «Колоколе», вздумают обвинять всю партию революции, то будет всегда приличная оговорка: «Мнение „Колокола", дескать, исключительно мнение самой редакции; мнение „Общего веча" и др. — мнение революционной партии, мнение „Земли и воли"; ищите в „Общем вече", что сказано там в этом роде!».

Прежде всего, не нужно смущаться мнениями нашего дворянства и пропагандой этих мнений. Дворянство как дворянство—замкнутый и отрезанный от народа кружок, его пропаганда не выходит из его кружков; пусть кружки эти вырабатывают свою теорию, пусть все внутреннее безобразие их всплывет на свет в определенных формулах: они приготовляют на себя обвинительный акт. Хуже того, чем были, они не сделаются, а только выяснят и определят себя. Пусть кружки эти подымают свое знамя, пусть каждый идет к тому знамени, которого он стóит: тогда отделятся овцы от козлищ, тогда можно будет видеть, как к кому нужно относиться. России нужно будет кой-кого сбросить с своих плеч, тогда виднее будет — кого именно.

Народ останется здрав и невредим от возвращения лягушек в свое родимое болото. Нам говорят, что мы слишком абстрактны для того, чтобы быть понятыми народом, но я не верю этому. Разумеется, тут много зависит от приема, от языка, которым станешь говорить с мужиком; мужику нужно говорить об его бедности, забитости, о рекрутчине, бессудности, поборах и т. д.; говоря то же самое, только другим языком, мы прослывем за рехнувшихся. Как всякая партия, мы имеем свои формулы; но ведь формулы есть у всех. Но противники наши для народа ничего, кроме формул, не имеют. О материальных выгодах народа при существующем порядке они не могут говорить, потому что существующий порядок невыгоден народу. Остается им одно: подступить к народу с формулами, говорить россиянам о законности, о неприкосновенности собственности, о гражданском долге повиновения властям, и т. д. Народ не поймет этих вещей и будет видеть в них один подвох; да и как понять ему вещи, которые только в больном мозгу оскопленных нравственно эксплуататоров могут родиться!

Но, может быть, они станут укоренять в народе его традиции, мнения, составляющие, так сказать, теорию нашей нации. На это я отвечу тем, что сказано однажды вами: «Россия — не теория, Россия — факт». Все способствовало этому счастью России: и отрезанность народа от истории, более глубокая, чем где-либо, и холопское положение дворянства, положение унизительное и развращающее, и этот остракизм национальности науки, национальности, свалившейся вместе с бородами, которые Петр так усердно сбривал по самые плечи.

Но редко встречаются правила без исключения. И в нашем народе есть теоретики, люди, которых никогда не подобьешь изменить букву их верований в пользу жизни. Это так называемые книжники. Книжников я боюсь и только в них одних вижу естественного и хоть сколько-нибудь прочного союзника существующего порядка. Против них ничего не сделаешь пропагандой; перед ними мы должны припрятывать свои когти, чтобы они не мешали нам вести дело. Большинство того, что я подразумеваю под именем «книжников», — главы сект, и здесь эти люди всего страшнее. Страшны они тем, что идея им дороже жизни, а мы других ссылок, кроме ссылок на требования жизни, — не имеем. Однако я думаю, что и тут можно найти лазейку, если мы сумеем ловко повести дело.

Секты нам нужно брать с двух сторон. Если мы будем с ними сноситься только при посредстве их глав, т. е. книжников, то мы приобретем в них союзника на первую только половину войны, а во второй нам придется сразиться с самими ими; тогда они бросятся в объятия своих старых врагов, и реакция выйдет на славу. Это — неизбежная развязка дела, если не мы поведем их, а их главы, если пойдут они не во имя нашего учения, а во имя того, что из нашего учения профильтруется через доктрины, хранимые их представителями. Как доки своего дела, эти последние не позволят подкопаться ни под один догмат их секты, и когда, заметив наше несогласие с ними, они произнесут свое «довольно!», масса сектантов, предоставившая инициативу сношений с нами своим представителям, отшатнется от нас тотчас же, как только они отшатнутся от нас. Поэтому нужно начать дело не только сверху, но и снизу: нужно вступать в непосредственное сношение с массой сектантов. Там нам будет вольнее: во-первых, там догмат не так хорошо известен; во-вторых, там жизнь, материальные интересы громче говорят, чем догмат. Простой народ гораздо больше слушается голода, чем идеи, какова бы эта идея ни была. Пропаганда все равно должна идти между простым народом; нужно будет только предпочтительно на простолюдинов-раскольников обращать внимание, чем на остальных простолюдинов. Действуя таким образом, растолковав простому народу все выгоды нашего полного учения, мы подготовим в самом расколе оппозицию против его строгой и окостенелой догматики.

Кончаю письмо, не высказавшись вполне. Примите его как ответ на ваше, а также и как ответ на «Протест» [7].

Гонч⟨аров⟩ снова посетил нас. Кланяется всем вам. Он привез нам новость: старообрядцы пишут адрес к царю о веротерпимости. От заграничных раскольников этот адрес уже послан. В нем просится, чтобы царь на деле показал свое доверие к старообрядцам, а не только на словах. Гонч⟨аров⟩ уверяет, что такой же точно адрес готовится и в России. О Соборе ничего нового, кроме того, что посланы письма к Олимпию [8]. Писем из России я не получал, не знаю, что и думать.

Передайте от меня поклон г. Огареву. Скажите, что я с нетерпением жду его письма о «З⟨емле⟩ и В⟨оле⟩». Я очень был бы рад, если бы он доказал мне, что я ошибаюсь. Откладываю писать к нему до получения его послания.

Преданный вам
Иван Кельсиев

Брат было расхворался, но теперь начинает поправляться и просит меня передать вам его поклон.

[1] Письмо Герцена, на которое отвечает И. И. Кельсиев, не сохранилось.

[2] «Послание» Ивана Кельсиева Центральному комитету «Земли и воли» неизвестно.

[3] Старообрядческий собор, по замыслу Герцена и Огарева, должен был быть созван и работать параллельно с Земским собором. Это решение, зафиксированное еще в первых заметках по поводу программы общества «Земля и воля» (XVI, 95), затем пропагандировалось в журнале «Общее вече» (см., например, № 19 от 10 июля 1863 г.). О созыве Старообрядческого собора говорилось в «Памятном листке», переданном Гончарову Огаревым (см. публикацию его в настоящем томе, на стр. 74—75). К весне 1864 г. выяснилось, что созвать Старообрядческий собор не представляется возможным. Идея общего Старообрядческого собора была заменена планом организации предварительного Собора заграничных старообрядцев (XVII, 131), а затем «схода» старообрядцев Добруджи с белокриницкими (XVII, 281).

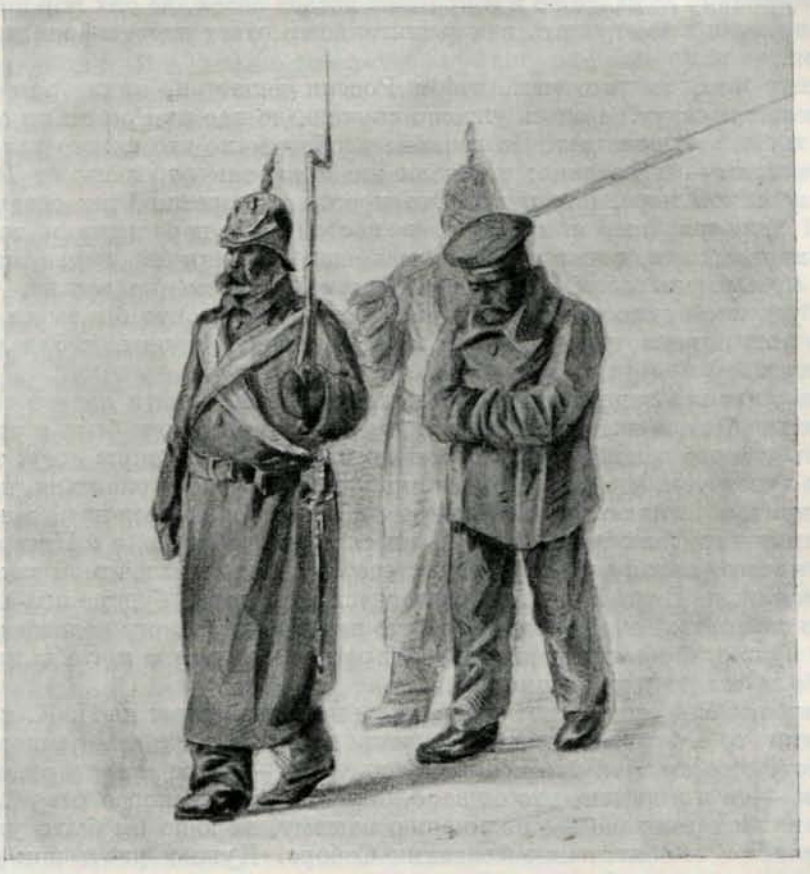
[4] Цитируемые Кельсиевым слова Герцена содержались, видимо, в неизвестном нам письме, на которое Кельсиев здесь отвечает. Уяснить смысл обсуждаемого вопроса помогает статья Герцена «Протест» (XVI, 403—406), которую, как это следует из дальнейшего, имел в виду Кельсиев, когда писал Герцену (см. примеч. 7).

[5] Очерки М. Е. Салтыкова-Щедрина, вошедшие в изданный в 1863 г. сборник

«Сатиры в прозе»: «Литераторы-обыватели», «Клевета», «Наши глуповские дела». Ранее эти очерки были напечатаны в журнале «Современник» 1861 г.

[6] Неточная цитата из стихотворения Дениса Давыдова «Современная песня».

[7] *«Протест»* — статья Герцена, напечатанная в л. 168 «Колокола» от 1 августа 1863 г. (XVI, 403—406). В ней Герцен гневно обличает дворян, «вчерашних крепостников», либералов, «ученых» и «учеников», дворянско-буржуазную прессу в поддержке реакционной политики правительства и призывает «честное меньшинство» присоединиться к его протесту. Кельсиев, отвечая на этот призыв, вместе с тем



«ПОД КОНВОЕМ»
Акварель . А. Ярошенко
Русский музей, Ленинград

как бы заявляет о своей солидарности с Герценом в его борьбе против растущей реакции.

[8] *Олимпий*, или Алимпий (мирское имя — Авдей Миловзоров) — бывший епископ старообрядческой белокриницкой иерархии в Тульче. Во время Крымской войны он был арестован русскими военными властями и одно время содержался в Суздальском монастыре. В 1883 г. Олимпий стал наместником Белокриницкой митрополии. Умер в 1899

2

ОГАРЕВУ

⟨Константинополь, сентябрь 1863 г.⟩

Многоуважаемый Николай Платонович. Пишу к вам, только что разрешившись от бремени 25 посланиями к старообрядцам. Я вполне разделяю мнение брата, что Собор никак невозможно устроить, но что все же

бросать этого дела не следует. Сделайте милость, пришлите нам как можно скорее списки старообрядцев, составленные братом, — теперь нужно письма посылать, а кому — не знаем. Пополните их именами, которые вам известны. По всей вероятности, завтра мы отправимся в Тульчу [1], и первый отряд посланий наших вскоре атакует Россию. Жаль, что «Колокола» я все не получаю; вот как теперь хорошо можно бы было отправить в Москву, мне почти подле самой границы придется быть. Писем я из России, к крайнему сожалению и к крайней досаде своей, до сих пор не получаю, почему и не могу дать вам решительный ответ насчет франкировки посылок.

Прошу вас, пишите нам, чтó в России делается, какие там новости и чего там ждут. Я здесь ужасно скучаю, до нас из России ни одного звука живого не долетает. По газетам вообще мало что можно узнать, а по нынешним — и подавно; неужели же и вы так отрезаны от России в той же самой мере, как и мы! Это просто нестерпимо, так оставаться нельзя! Впрочем, вы, я надеюсь, в постоянной переписке и должны знать многое, а я, поверите ли, здесь еще строчки не видал из России, — одна мысль об этом мне нестерпима, непременно нужно, чтобы кто-нибудь постоянно писал нам из России, и я во что бы то ни стало устрою это; а пока еще раз прошу вас — пишите к нам, что делается в России.

Пока у нас вся задача в устройстве типографии, — почти ничего серьезного нельзя без нее сделать. Вот съездим в Тульчу, может быть и удастся обделать там это дело. Только если дело пойдет на широкую ногу, то мы заранее чувствуем, что вдвоем нам никак нельзя будет справиться, почему мы и думаем выписать сюда Артура Бенни [2]. Это не человек, а золото в отношении трудолюбия, он один за десятерых работает, а в Питере ему делать нечего, потому что репутация его страдает неизлечимой хронической болезнью. Если Бенни не согласится, то нужно будет кого-нибудь другого поискать. Только дело в том, что нам именно такого человека, как Бенни, нужно, чтобы ни одна минута даром не пропадала и чтобы каждая чаша была им до дна выпиваема.

Напишите мне, скоро ли надеетесь вы получить ответ из Ц. К. на мои замечания о его недостатках. Я очень длинное послание отправил к Ком‹итету›, но так как оно пойдет очень тихо, — через старообрядческие селения, — то я и думаю, что от вас мне можно будет скорее ответ иметь. Еще напишите мне, какие, по мнению вашему, хорошо бы было употребить средства к облегчению созвания Собора. Нужно две вещи: Собор и волнение в старообрядческой массе, которое выказывало бы участие всех старообрядцев в этом Соборе. Собор-то, пожалуй, и можно устроить, только не вышел бы он просто смешон и как бы нам себя на нем не скомпрометировать: пожалуй, десять, пятнадцать человек можно подобрать, но только что в том пользы, если они будут только одиночным явлением, чуждым массе. Вот что нужно помнить: масса не будет созывать Собора, — это почти несомненно, но как бы так сделать, чтобы Собор был созван, хотя и без участия массы, но, тем не менее, пользовался бы сочувствием сей последней и сочувствие это чем-нибудь да выразилось бы?

Иван Кельсиев

NB. Мой поклон передайте Александру Ивановичу.

[1] В действительности, в сентябре 1863 г. И. Кельсиев переехал в Тульчу один; В. Кельсиев со своей семьей поселился там лишь в декабре того же года.

[2] Об Артуре *Бенни* см. в настоящем томе, во вступительной заметке к его письмам к Герцену и В. И. Кельсиеву (стр. 23—24).

Намерение братьев Кельсиевых «выписать» в Тульчу Артура Бенни не было осуществлено.

3

ОГАРЕВУ

⟨Тульча. Ноябрь—начало декабря 1863 г.⟩

Многоуважаемый Николай Платонович*. Судя по печальному положению, в котором я оставил своего брата, а также и потому, что сам я, с тех пор, как я с ним расстался, т. е. $2^1/_2$ месяца, не получил от него ни одной строчки, я заключаю, что вы также не получали писем от брата за последнее время и потому ничего не знаете о том созвездии, которое стоит над нами в течение этой осени. Я в Тульче. Выехал я из Стамбула уже в такое время, когда брат совершенно выбивался из сил, не зная, за что схватиться и что предпринять, чтобы избавить себя от нищеты, которая ползла во все щели. В виду не было ничего, кроме давнишней мечты о типографии, а в наличности ничего, кроме долгов. Для переговоров-то об этой типографии я и выехал из Стамбула. Я долго ждал этой минуты, потому что долго мы ниоткуда не могли достать денег; я был рад, как бог знает чему, первым трем наполеондорам, которые нам удалось занять, и тотчас же сел на пароход, хотя 60 франков могло хватить только на проезд до Тульчи. Кроме *желания устроить типографию, мою торопливость удваивало желание* поскорей разослать по России свои письма к старообрядцам о созвании Собора. До Тульчи я доехал, был в скиту [1], был в старообрядческих селениях; письма пошли в Россию, а что касается до типографии, то я мог только того добиться, что епископ обещал написать в Измаил, в Галац, в Яссы и в Москву о нашем предложении и просить у тамошних купцов денег.

В скиту меня приняли очень хорошо: я с раннего утра и до поздней ночи просидел у епископа и говорил без перерыва целый день; тут был Гончар, сошлись сюда и монахи, которые поважнее; меня слушали как еще никто и никогда меня не слушал, не проронили ни одного слова, и теперь еще помнят до малейших подробностей всё, что я говорил. Поняли всё прекрасно и согласились во всем. По возвращении в Тульчу я сел на мели и до сих пор употребляю все усилия столкнуться с нее. От брата — ни слова, денег — ни гроша, квартира — чужая, которой я пользуюсь, злоупотребляя правами сделанного мне гостеприимства. Здесь произошел со мной такой казус, в котором мне стыдно признаться, однако признаюсь: я совсем потерялся, утратил всякую способность вести пропаганду между раскольниками, поддерживать сношения с ними, изобретать, предпринимать и заканчивать; личное мое несчастие до того поглотило меня, что мне нейдет в голову ни одна посторонняя мысль, что мои руки не подымаются ни на какое постороннее дело. Вы, может быть, обвините меня, и я не могу вспомнить об этом без боли; но если бы я был просто беден, я не оставил бы дела ни на минуту; но жить из милости $2^1/_2$ месяца у человека, чуждого и мне, и моему делу, $2^1/_2$ месяца искать с утра и до ночи работы и не находить ее; просить ее, как какую-нибудь милость, у людей, глубоко невежественных и грубых, у торгашей, у попов, у людей, которых презираешь в душе, но которых не имеешь ни права, ни возможности оттолкнуть от себя; знать, наконец, что и тот труд, который я могу после долгих усилий достать себе здесь, унизителен, скуден и, — что всего хуже, — не согласен с интересами моего настоящего дела, — все это, воля ваша, — много выше моих сил...

Но подождите немного: может быть, мне удастся вскоре почувствовать под ногами хоть зыбкую почву, но все же почву. Лишь бы мне иметь свою конуру, только бы мне иметь свой кусок хлеба, я снова буду трудиться, снова приищу дело, потому что дела здесь гибель. Мне представляется

* В подлиннике здесь и ниже в этом письме описка: «Платон Николаевич».—*Ред.*

здесь два занятия: учить грамоте детей здешних малороссов, учить по глупейшему киевскому букварю, по псалтырю и часослову! или же наняться приказчиком у одного из здешних рыболовов.

Второе занятие, хотя и много выгоднее первого, однако требует, чтобы я жил посреди степи, вдали от всякого жилья и за 50 верст от Тульчи; поэтому я предпочитаю сделаться учителем, хотя этот труд и тяжелее и способен дать мне только хлеб и квартиру; но и тут беда: на второе место у меня нет конкурентов, а на первое недавно один явился, и едва ли моего соперника не предпочтут мне; а кто же он!— пожалейте меня, добрый Николай Платонович, мой конкурент — старый пьянчуга, с утра и до ночи таскающийся по шинкам, и даже до риторики навряд ли когда-нибудь доходивший...

Нехватает места и духа описывать вам, что такое Тульча, кто в ней живет и что в ней можно делать. Погодите немного; дайте мне вздохнуть, и я много, много напишу вам; я буду вашим агентом в Тульче, здесь много можно сделать. Горизонт начинает для меня несколько расчищаться, светлеет, — посудите сами, как он был темен, если и перспектива хохлацкой землянки, с деревянными столами и скамейками, лубочными картинками, букварем и часословом — свет на нем! Но я уверяю вас, что я не чувствую теперь и десятой доли того горя, какое я испытывал с месяц тому назад; теперь я еще, можно сказать, в веселом настроении: я, посреди осенней ночи, под холодным ливнем, иззябший и промокший, заметил собачью конуру, которая может меня приютить! — еще бы мне не радоваться!

Всего сильнее беспокоит меня брат, от которого я не получаю ни строчки; его положение во сто раз хуже моего; мое горе проходит, а ему навряд ли можно будет так легко выпутаться, как мне, с женой и с ребенком.

Кланяйтесь от меня всем и, ради бога, напишите мне в Тульчу, на имя Жуковского [2], что есть нового в России; отсутствие всяких известий о России еще сильнее давит меня, чем вся некрасивая обстановка моей жизни.

Ив. Кельсиев

[1] Славский старообрядческий скит, в двадцати пяти верстах от Тульчи. Там жил епископ Аркадий, которого и имеет в виду Кельсиев. Описание славского скита дал В. И. Кельсиев в своей статье «Польские агенты в Царьграде» («Русский вестник», 1870, № 1, стр. 260—261).

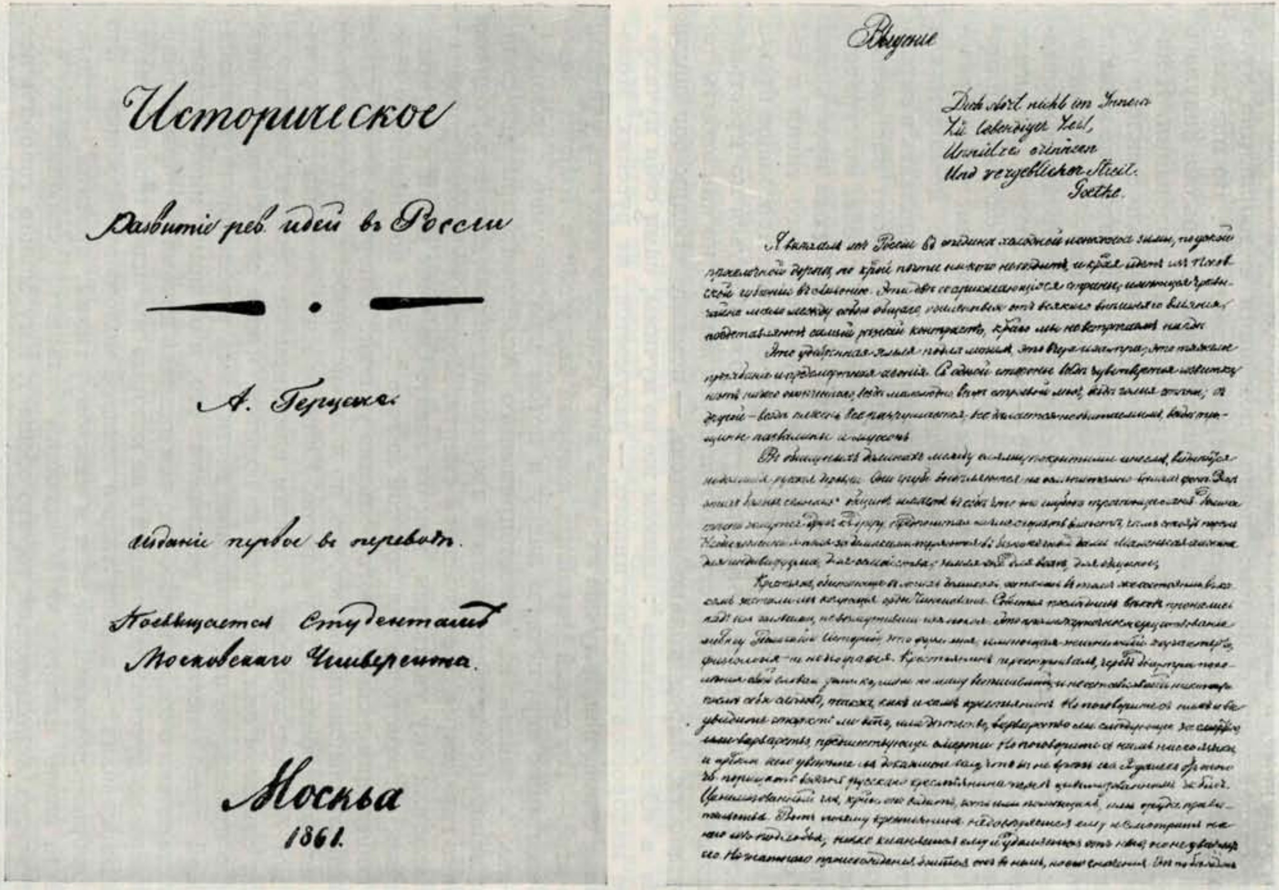
[2] О майоре *Жуковском* см. на стр. 180 настоящего тома.

4

ОГАРЕВУ

Тульча ⟨ноябрь — начало декабря 1863 г. Отослано со следующим письмом⟩

Я вновь воскресаю, мой почтенный друг. После долгих усилий мне удалось уговорить здешних малороссиян открыть школу, и вот я теперь, в качестве школьного учителя, имею свою конуру. Мне предстоят невероятные усилия — подбить родителей моих учеников на предоставление мне полного права учить их детей, как я знаю и нахожу наивыгоднейшим; народ непомерно здесь дик, и начать я должен с нелепейшего букваря, псалтыря и часослова. Священной истории не позволяют учить: это, говорят, «супротивно». Отдавали прежде детей в молоканскую школу, но, увидав, что там обращают большое внимание на библию, взяли назад: «Кто в библию один раз зайдет, тот из нее не выпутается: больно хитро написана». Кроме того, в молоканской школе учат географии — «тоже


Историческое

Развитие рев. идей въ России

А. Герцена

издание первое въ переводъ.

Посвящается Студентамъ Московскаго Университета

Москва

1861.

Введение

Doch dort nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit,
Unwälze ...
Und vergeblicher Streit.
Goethe.

ПОДПОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «DU DÉVELOPPEMENT DES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES EN RUSSIE» («О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ») ГЕРЦЕНА. ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД КНИГИ и ЕДИНСТВЕННОЕ РУССКОЕ ИЗДАНИЕ ЕЕ, ВЫШЕДШЕЕ В СВЕТ ПРИ ЖИЗНИ АВТОРА, 1861 г.

Книга была выпущена литографским способом московским студенческим кружком П. Э. Аргиропуло и П. Г. Заичневского

Титульный лист и первая страница

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

супротивно»: «Ребят-де заводят в моря, морские пучины показывают!».— «Нам нужно, чтобы только кое-как ребенок умел читать да писать, нехай его, бестия, не до всего доходит, до всего доводить его не нужно — не будет родителей почитать!». Таковы люди, в руках у которых я нахожусь,— в России, в тюрьме, я был во сто раз более свободен. Факты заставляют невольно согласиться с Фетом: точно, помещики и дворянство куда привлекательнее неумытых, диких и изуверных крестьян [1]. Во мне давно уже была жилка кориолановского презрения к черни; теперь она надулась до аневризма, и мне кажется, что я лопну с досады и негодования. Я никогда не краснел за свое презрение [к плебейству] к почвенной силе и открыто высказывал его всюду, где рассудочные расчеты агитатора не мешали мне высказывать то, что у меня на душе. Мое призвание — уничтожение черни, мой идеал — аристократическая республика, в которой все аристократы, а черни вовсе нет, мое равенство — равенство людей, развитых и облагороженных рациональным воспитанием между собою; мое примирение с оторванным от истории земством — сравнение земства с образованным меньшинством нашей партии, а не приглашение московских и петербургских «нигилистов» согнуться в три погибели и заползать в смрадные и душные крестьянские избы. Крестьянство привлекает нас своими «страдами»; все живое и страдающее невольно влечет к себе, но страдать еще не значит быть человеком; посмотрите, что такое забитый крестьянин в самом себе,—дайте простор его личности, снимите с него тиски и пеленки и посмотрите, каким толстым бурмистром он сделается, какое брюхо себе отрастит, как его жирные кулаки будут прохаживаться по крестьянским спинам [2]. Народ, точно, страдает, и народ жалко; но как забыть то, что, в сущности, народ только «секется», — помните «Велик бог земли русской!» в «Современнике» [3]: «никем же не мучимы, сами себя мучаху».

Дичее малороссов здесь нет никого, — разумеется, из русских. Молоканы более человечны, и лучше их здесь нет никого. У них есть учитель, и знаете кто? — Тот самый Михайлов, который был у вас, в Лондоне, заводил с Левестамом игрушечную лавку и потом едва не умер с голоду [4]. Он кое-как вырвался из негостеприимного Альбиона, приехал сюда, сделался молоканом и теперь хотя и продолжает еще бедствовать, однако совершенно гарантирован от голодной смерти. Молоканы вполне доверяют ему и позволили ему учить так, как он знает. Он учит детей и истории, и географии, и грамоте по золотовской методе [5], а не по киевскому букварю, и ребятишки делают у него большие успехи. Теперь во всей Тульче нет лучшей школы; жаль только, что, по малочисленности молокан, у него никогда не бывает больше 10 учеников. Если бы Михайлов был поэнергичнее, он мог бы пользоваться большим влиянием на здешних сектантов, только он слишком вял, ни с кем не водится, кроме своих единоверцев, и до моего приезда не пробовал даже вести здесь революционную пропаганду. Мой приезд несколько расшевелил его, и он помог мне уговорить молокан стараться о созвании Собора, сам написал письма, которые и разосланы теперь по русским молоканам и на которые мы ждем теперь ответа. Алексей Васильевич [6] — первое лицо в здешней молоканской общине. Это человек добрый, помогающий всем и каждому, тихий, кроткий, честный, крепкий на слово, никогда не обещающий большего, делающий то, что может, и всегда исполняющий то, что обещает. Ему можно говорить все, что хотите, потому что, что бы вы ему ни доверили, вы можете быть покойны — останется между им и вами. В отношении самодеятельности, непоседливости и бойкости он — живая антитеза Гончара. Для нас он мало может быть полезен; он искренно сочувствует нашему делу, особенно нашему учению и нераздельности и неотчуждаемости земли. Но он имеет свои коньки, с которых его не столкнешь; так, например, он против поляков, за славянский союз и т. п. Вообще этот человек, несмотря на свою

видимую уступчивость, одинаковую мягкость обращения со всеми, очень мало поддается чужому влиянию, тогда как из Гончара, как из воска, можно лепить, что угодно. Он более сведущ, чем Гончар, выписывает «Сын отечества»[7], еще хочет выписывать что-нибудь, кое-что читал и по религиозным своим мнениям склоняется к лютеранству. Я почти ничего не сделал с ним, — может быть, оттого, что с ним и нельзя ничего сделать, может быть и потому, что, как я вам писал, со мной вышел некоторый казус. Молокане несравненно теснее соединены между собою взаимной помощью, дружбой и советом, чем старообрядцы. Причинами этому служат отчасти их малочисленность, отчасти то, что они исключают из своей общины всю эту голь кабацкую, которою старообрядцы столь щедро наполнили все тульчанские шинки. Они строго следят за нравственностью и добропорядочным поведением друг друга; в случае семейных раздоров и ссор настоятель их, Семен Федоров[8], немедленно отправляется на дом к спорящимся и старается примирить их между собою. Учение чистых молокан вам должно быть известно: они не признают таинств, не признают вселенских соборов, святых, возможности чудес, иконы считают идолами и верят одной библии с ветхим и новым заветами. Они свято хранят некоторые из ветхозаветных обрядов, так, например, не едят свинины; родильниц и женщин, находящихся в периоде менструации, не допускают на свои духовные сходки; совершают омовение в известных случаях и мн. др. — Здесь есть еще другая молоканская секта — секта духовников, т. е. признающих, что дух святой и доныне нисходит на избранных, принося им дар пророчества, чудотворения и т. п. Эта секта очень мала, неустроена и находится в руках шарлатанов. К ней примыкают все, кого чистые молокане исключают из своей среды за пьянство, разврат и религиозную эксплуатацию. Она так мало стоит внимания, что я не старался сойтись ни с кем из ее вожаков. Чистые молокане считают духовников чернокнижниками и колдунами, потому что молокане, как и вообще все сектанты, очень суеверны и нетерпимы.

В заключение скажу, что на молокан не мешает обратить нам особенное внимание: они сильно веруют в неоспоримость истины их учения и заботятся о распространении ее; свобода вероисповедания, по их мнению, то же, что обращение всей России в молоканство; они более доступны образованию, чем старообрядцы, и более, чем те, сочувствуют ему; они мечтают об устройстве молоканских училищ в России по примеру западных протестантов, которым они вообще симпатизируют; они и потому еще заслуживают нашего внимания, что они тесно соединены между собою, но зато чисто социальный вопрос мало доступен им и мало их интересует; это оттого, что они следят за духом писания, а не за буквой, более цельно связаны с религией, чем старообрядцы, для которых почти вся религия совместилась в лестовках, ладане, земных поклонах, постах и двуперстном сложении; для тех религия — живой дух, для этих — нечто механическое, чисто формальное, и притом форма, извне навязанная, вся до последней иоты начерченная святыми отцами; что для старообрядца — обязанность, долг, навязанный волею других, для молокана — его собственная мысль, его вывод, его находка, его собственное изобретение, он слушается одного бога и из простых и разбросанных положений библии выводит целые ряды умозаключений, открывает сам новые законы, приводит их в связь между собою, в одну систему; у старообрядца все закончено, все приведено в известность, и попытка открыть новый закон, по его учению, — бунт против бога; прибавьте к этому, что в старообрядческой религиозной механике живому человеку тесно, что

Душа своей пищи просит,
Душе нужно жажду утолить,—

и вам тогда будет ясно, отчего черные и испитые монахи в Славском скиту слушали, притая дыхание, все, что я толковал им с утра и до ночи о конституционных формах правления, об Англии и Западе, о земстве и дворянстве, об общественном положении раскола и т. п., — между тем как едва успею я завести толк об этих же самых вопросах с молоканским настоятелем, как он и собьет тотчас же разговор на Павла да Апеллеса, на нечистоту свинины да на идолослужение поклоняющихся иконам. Словом, тут то самое, что я давно формулировал для себя в таких словах: в существующем хаосе для наших тенденций только то очень хорошо, что очень худо.

После молокан, по развитости, следуют поповщинцы белокриницкого согласия. Только о гуманности, разумеется, и помина здесь быть не может. Когда я проезжал по их слободам и по скиту, я был поражен духотою их семейной жизни, их педантизмом, суровостью и рабством. Никогда я не ждал встретить что-либо подобное. Раб перед попом, старообрядец нестерпимейший деспот в своем доме. Жена да повинуется мужу, дети да чтут отца. В домах все чисто и прибрано, но все мертво и бездушно. Чинность доведена до крайности, обряды на каждому шагу. От всякой вещицы веет ладаном и мощами, иисусова молитва повторяется беспрестанно. Жена не смеет сесть за стол с мужем, дети должны стоять, пока родители не скажут им, чтобы они садились. Глава семейства говорит мало с своими семейными, да и то свысока, коротко и строго. Все должны молчать, когда он говорит, и вообще говорить много и не о серьезных вещах в присутствии старших считается неприличным. И все это ежеминутно валится в ноги, мирянин перед попом, поп перед монахом, монах перед епископом, жена перед мужем, дети перед родителями, в ноги—при каждой малейшей встрече, в ноги — перед обедом, в ноги — после обеда, в ноги — утром и вечером. Отец, возвращаясь домой из поездки, входит в комнату молча, проходит, не обращая ни малейшего внимания на валящихся ему в ноги жену и детей. Подобного рабства я в жизнь свою еще не видывал, и не мудрено, что пьянство и разврат, с одной стороны, а с другой — замкнутость и изуверство доходят между старообрядцами до самых диких размеров. Вот оно, древнее-то благочестие, вот они, отеческие-то предания! Пьянство такое, какое я здесь вижу, я видел только в Сибири, между поселенцами, которых привозили в Верхотурье целыми толпами и бросали на их собственный произвол посреди незнакомого и пустого городишки. Прежде оно сдерживалось здесь самоуправлением, при котором вся власть доставалась в руки так называемых «стариков», т. е. первых книжников и фарисеев в околотке. Эти «старики» силою поддерживали чинность и елейное благообразие, они пороли пьяниц и запарывали досмерти женщин, уличенных в неверности мужьям. Но прелесть древлеотческого благочестия должна быть мила только «старикам», а в сердцах массы говорят только одни грубые страсти, и вот, в один прекрасный день, общество старообрядцев отказалось от своего самоуправления и передалось во власть турецких чиновников, которые хоть и дерут немножно, да зато уж не мешают от домашнего ладана и землепоклонного благообразия забежать на минутку в шинок, а по выходе из шинка завалиться в лужу и лежать в ней, сколько душе заблагорассудится, пока сердце не отойдет и силы вновь не наберутся на исполнение десяти тысяч китайских церемоний. И так валится старообрядчество в Турции и пало бы окончательно, если бы книжники и попы, утратившие власть de jure, не сохраняли бы ее de facto своими имуществами и своим обоюдным согласием преследовать на каждом шагу отпавших и во всем помогать покорным и не скидающим открыто фарисейскую личину.

Но опять повторяю: ни разу никто меня так не слушал, как слушают здешние старообрядцы, и именно книжники, монахи и начетчики. Масса слишком тупа и слишком неразвита для того, чтобы интересоваться подоб-

П. Э. АРГИРОПУЛО
Фотография, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

ными вопросами; она даже относится с некоторым изуверством к ним, потому что с детства долбили ей, что все новое должно ненавидеть, что только старое свято; потому что она не знает, чего мы хотим; потому что она слишком груба для того, чтобы искать исхода от религиозных цепей в общественной деятельности, а не в шинке; потому что гнет русского правительства для нее не существует; потому, наконец, что у нее из бабьих сказок сложился иной идеал — идеал белого царя, окруженного енаралами да удалыми молодцами, храбрыми донцами. Упрямое староверчество сильно гнездится в массе; я очень бы увлекся, если бы сказал, что эта масса, на практике ищущая исхода из религиозных пут, в теории — враг своей религии. Чернь видит кулак, который ее бьет, и огрызается на этот кулак; но видеть мускулы, приводящие в движение этот кулак, видеть далее волю, приводящую в движение эти мускулы, еще далее — видеть сумму условий, определяющих направление этой воли, может только ученый, развитый человек. Книжники более либеральны, чем старообрядец из массы; они и в табаке видят только «чрезъестественное» употребление, а не бесовскую траву, и чай пить дозволяют, и народную перепись признают учреждением полезным. Если бы не материальные выгоды, если бы не общечеловеческая способность пристращаться к теории, которая однажды затвержена наизусть, изучена до мельчайших подробностей, то, — я ничуть не преувеличиваю, — мои монахи скинули бы свои клобуки и рясы и помирщились бы. Иные из них прямо говорят, что старообрядцы соединились бы с господствующей церковью, если бы она согласилась снять свое проклятие со старой веры; есть и такие, которые в дружеском tête-à-tête со мною, за полночь, заговаривали и об «Вóлтере», как, дескать, этот «Вóлтер» тонко до всего доходил. В этих людях есть «святое недовольство»: духовная жажда, ничто другое, затянула их в старопечатные

книги; старопечатные книги затвержены наизусть, а духовная жажда, понятно, не удовлетворена; оттого-то эти черные рясы и льнут теперь ко мне, как мухи к меду. Им душно в своих кельях, — как можно предположить, чтобы передовые люди уживались в этой спертой атмосфере, которую и голь кабацкая не переносит! Я не возвожу своих замечаний в общее правило, — я вообще враг общих правил; но только несомненно, что есть явления такого типа, о котором я говорю. Люди, которым не виден исход из-под гнета среды, не слушают с такою жадностью: дыхание захватывает неожиданная находка, луч света в темноте, где зги не видать, а не лишний луч в комнате, и без того светлой, не находка приюта, когда и без того имеешь их десять. У молокана впереди целая будущность, целый мир еще не открытых законов и миллионы неофитов; потому он длинную речь вашу прослушает только до половины, а на половине перервет и станет вклеивать свои замечания: вы, дескать, вот что послушайте, и начнет тянуть свою канитель. Молча слушает только тот, кому нечего сказать, кто сознает, что его достояние скудно, у кого веры нет, убеждение не горячо, кем овладевает хандра, кто охладел к самому себе. В скиту меня слушали молча, и я слышал только одни одобрительные замечания да вопросы. Более грубые из монахов, более погрязшие в житейских нуждах, охладевшие умом и сердцем, не молчали, а делали возражения и прерывали меня; но это холодные люди, для них беседа — то же, что перебор насечек на лестовках; отчего же более пылкие из старообрядцев слушают молча, и отчего ретивый и пылкий молоканский настоятель ежеминутно перерывает меня?

В скиту во всем согласились со мной. Епископ выразил мне сожаление — отчего я не живу поблизости к ним и не могу толковать им об настоящем смысле текущих политических событий. Они поняли, что на слова государя нельзя полагаться[9], что, во-первых, нет ничего положительного в этих в словах, что, во-вторых, все его поступки должны внушать старообрядцам одни опасения, в-третьих, что свобода вероисповедования, как сигнал к образованию в России могущественного status in statu *, противна самодержавной и властолюбивой политике дома Романовых. Я им толковал также, что дворянство в России пробуждается, что не сегодня, так завтра оно окрепнет и путем экономической эксплуатации будет преследовать старообрядчество на каждом шагу, чтобы земское старообрядчество не привлекло к себе крестьян, не составило бы с ними одной могущественной корпорации, не принудило бы этим путем и царя принять старообрядчество, самого царя, царя, который теперь первый московский помещик и гордится своим дворянским званием; и это поняли, и с этим согласилися. Далее, я говорил о том, что такое в Англии поп господствующей церкви, какая там круговая порука между правительствующими барами и попами и т. д., и т. д., — они и все то, что я говорил об Англии, зарубили себе на носу. Расстались мы наилучшими друзьями, и епископ обещал мне советовать русским старообрядцам не терять удобной минуты и просить царя напрямки высказать — хочет ли он дать свободу вероисповедования или не хочет. Гончар почему-то не хотел, чтобы я говорил епископу об моих письмах к русским старообрядцам, которые теперь, по всей вероятности, уже разгуливают по Стародубщине и другим скопищам старообрядчества.

Я не стану говорить, чтобы мое посещение старообрядческого скита повело к каким-нибудь важным результатам; как ни любопытны были монахам мои речи, однако они слишком прокопчены ладаном для того, чтобы принять на себя роль агитаторов ex-professo **. С меня довольно и того,

---

* государства в государстве (лат.).
** профессиональных (лат.).

что они согласились со мною и что мое посещение имело некоторый эффект для них; сами они не будут против нашего дела и, при случае, и другим будут советовать быть друзьями нашего дела. В сущности, и ждать чего-нибудь другого было нельзя: кроме нас, людей образованного меньшинства, никто не примет на себя инициативу и руководства дела, — остальные пусть будут только приготовлены, и придет же когда-нибудь время, когда мы подадим клич и против нас ни один голос не подымется, — еще минута — и ободренная отсутствием врагов масса начнет собираться около нас. Большие капиталы наживаются по копейкам: посмотрите, как крепко держатся правительства, очевидно неспособные, бессильные и апатичные; на первый взгляд эта устойчивость очень странна, за что ни возьмутся эти правительства — все у них валится из рук, ни одно дело им не удается вполне, все выходит как-то криво и косо. Однако держатся. Отчего? Не потому ли, что они ведут свою пропаганду на всех точках их земель? Нигде они не встречают восторженных отголосков на их призывы, их агенты — не вдохновенные пророки и апостолы, а ленивые, тупые комиссары, исправники, попы; однако ничтожность каждого из их агитационных предприятий выкупается большой суммой этих ничтожностей— большой капитал слагается из медных грошей. Для того чтобы нам выиграть свое дело, нам нужно бросать свое слово на все стороны при всякой малейшей встрече, при каждом шаге — на улицах, на перекрестках, извозчику, который нас везет, нашему соседу в вагоне железной дороги, нашему сапожнику, лавочнику, лакею и всем, и вся. Мы очень много потеряем, если будем искать только валовые операции, радикальные coups d'état *, генеральные сражения; это роскошь, которая бывает редко доступна, как всякая роскошь, и как всякая роскошь, она доступна только после будничного и чернорабочего занятия — сбора медных грошей.

Старообрядцы, держащиеся бегствующего священства [10], мало известны мне, по той же самой позорной причине, что я струсил перед грозившей мне нищетой и опустил немощно руки. Я едва мог себя принудить побывать у трех влиятельных личностей этого согласия. Насколько я мог приметить, это согласие состоит из изуверов по природе и изуверов по врожденной наклонности к спорам. Белокриницкие зовут их «раздорниками», и это название так и льнет к ним. Одни из них принадлежат к тем личностям, которые, в силу болезненно парадоксального ума, всегда под властью какого-нибудь конька, к которому они все сводят и все приноровляют. Такой господин прочтет где-нибудь в пророчествах слова «сниде дщерь вавилонская с величества престола твоего» и начинает выводить из этих слов, что Россия скоро падет, антихрист воцарится, белые волки забегают, и христианство погибнет. Ему хоть кол на голове теши, а он будет толковать о дщери вавилонской, строить целую систему на ничего не значащей фразе и скорей пойдет против целого мира, чем хоть одну иоту уступит из своих сумасбродных построений. Однако люди эти искренни и беспристрастны в своем умопомешательстве, как ламанчский рыцарь. Другой тип «раздорников» гораздо антипатичнее. Это люди с болезненно развитым самолюбием, желающие, во что бы то ни стало, иметь обо всем свое собственное мнение, люди, готовые утверждать, что 2 раза 2 не 4 потому только, что не они открыли эту истину, а какой-то выскочка, осмелившийся иметь претензию на свое собственное мнение. Это спорщики ex-professo, которые, чтобы высказать себя, будут спорить с вами и тогда, если вы повторите мысль, высказанную самими ими за две минуты перед тем. Оба эти типа очень жалки и совершенно непреодолимы. Масса раскольников этого согласия ничем особенным не отличается, если не сравнительно большим изуверством против массы белокриницкого согласия. С теми

* государственные перевороты (франц.).

раскольниками этого согласия, которых я посетил, я после третьего пота порешил-таки на том, что они напишут к своим в Россию о пользе созвания Собора ото всех согласий и сект. Не ручаюсь, однако, за искренность этих обещаний: упрямые, как козлы, «раздорники» долго отнекивались, ссылаясь то на близкую кончину мира, то на промысел божий, устрояющий все по своему произволению, то на свою малочисленность и угнетенность, которой подвергается их согласие ото всех сторон.

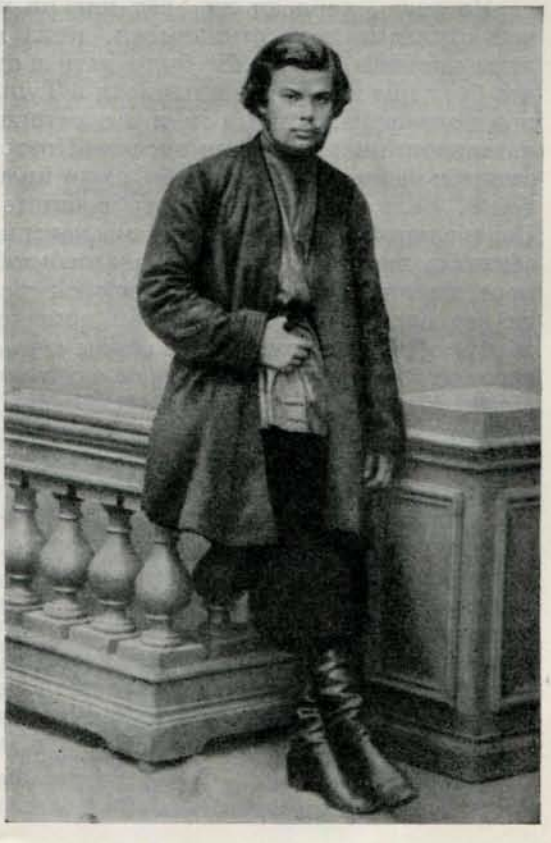
Вот вам слишком пространный и растянутый очерк здешних сектантов. На первый раз довольно. Мне нужно побывать еще у одного из «раздорников», который, если верить рекомендации Алексея Васильевича, далеко лучше всех своих единоверцев и очень интересуется нашей пропагандой. К сожалению, многие причины заставляют меня откладывать день за день эту экспедицию. Недели три тому назад я два раза заходил к нему, но не заставал его дома. После того какой-то пьянчуга, по личной злобе на этого человека, хотел идти жаловаться в конак, что из России приехал шпион, подговаривающий русских выходить в Россию и действующий заодно с вышесказанным старообрядцем. Шпион этот не кто иной, как ваш покорный слуга. Дело могло бы разыграться довольно скверно для меня, если бы не вступились за меня мои доброжелатели и не отговорили человека, которого я и в глаза не видал, понапрасну ябедничать на меня и подводить меня под незаслуженную беду. Теперь я боюсь идти к Дмитрию Иванову, — так зовут рекомендованного мне «раздорника»,— чтобы не компрометировать его еще раз своим посещением и тем не оттолкнуть его от себя. Кроме этого обстоятельства, меня и то еще останавливает, что мои наниматели косо посматривают на мою дружбу со старообрядцами, подозревая, что тут что-то неспроста, и опасаясь, чтобы тут не было какого-либо подвоха, или — чего бог избави — не произошло бы какой-либо «супротивности» в методе моего обучения их ребятишек. К липованам [11], как и ко всем другим русским сектантам, у малороссов есть какая-то антипатия, и их шокирует то, что их учитель якшается с раскольниками. Здравый рассудок заставляет меня месяца два вести себя поаккуратнее; когда я соберусь как-нибудь с деньгами, я буду более независим и в то же время заставлю своих тюремщиков почувствовать в себе нужду; тогда я вновь поведу здесь усиленную пропаганду. Кстати, мне нужно еще много кой-чего написать, следовательно, два месяца эти я не буду сидеть сложа руки; во-первых, мне нужно кончить брошюру, которую я начал писать в Стамбуле и которая осталась там недоконченною; потом я хочу написать две-три статейки в «Общее вече» [12]; потом нужно писать много писем. К тому же, для того чтобы вести успешно пропаганду, необходимо быть au courant* политических новостей, а я,— можете вы себе представить! — с той минуты, как оставил Стамбул, не имел в руках ни одного газетного номера! Как-нибудь и эту беду поправим, и тогда дело пойдет наславу.

Отчего вы не высылаете «Колокол» и «Вече» на имя Жуковского? Ни епископ, ни Гончар не получают ваших изданий с давнишнего времени. Вообще в Тульче, как и везде, чувствуется недостаток лондонских изданий, — их ни у кого нет. Многие ими интересуются, очень мало, кто будет их покупать, — народ слишком неразвит, чтобы тратить деньги на книги. Впрочем, Жуковский говорил мне, что у него разошлось бы достаточное количество ваших изданий, если бы они были у него под рукою; он говорит, что многие желали бы очень иметь их, только не знают, где их достать. Не говорите, что самое незнание это показывает, что «Колокол» и «Вече» мало нужны здесь; да, для раскольников они мало нужны, да, для нас с вами и для нашего дела они нужны здесь. Наше дело навязывать

* в курсе (франц.).

всем и каждому свои услуги, толкаться упорно и настойчиво в каждую дверь; если мы верно и ревниво будем исполнять это назначение, — горы двинутся. Если бы люди искали «Колокола», а не «Колокол» искал людей, к чему был бы тогда «Колокол»? Впрочем, может быть только в Тульче мало интересуются вашими изданиями, а в Молдавии дела в ином положении. При сем прилагаю список с номерами «Колокола» и «Общего веча», которые мне поручили просить вас выслать. Деньги будут высланы вам тотчас же по получении, — вперед не дают. Пожалуйста, не замедлите этою высылкою; адресуйте на имя Жуковского с передачею И. Яни [13].

В заключение моего длинного послания о тульчанских мужах (de viribus tultchanorum) прошу вас писать мне обо всем, что есть нового. Все известия с вашей стороны будут для меня так же отрадны, как манна, падавшая с небес в пустыне: слово свободных людей, весть от единоверцев ободрит и подкрепит меня, окруженного со всех сторон язычниками. И к тому же, я так долго, так долго не имел никаких известий о том, что делается в России, что, право, мне становится страшно, как подумаю: неужели мне, имеющему одну цель в жизни, дышащему только одной страстью, можно оставаться так далеко от дела! Я кинул друзей и мир, единственно терпимый мною; я бежал от них, для того, чтобы служить им и их делу, — неужели же к горечи одиночества и разлуки должна прибавиться и невозможность жить только для той жизни, которую я бросил? Это не может быть, об этом и думать страшно, — я тысячу раз убегу из этой Тульчи, прежде чем примирюсь с мыслью, что все связи между мною и новым, нарождающимся миром порваны! Да этого и быть не может! Одной связи — любви к этому миру — ничто не может порвать; а эта сохранится — будут и другие цели; из нее же все исходит, и без нее ничто же бысть...



П. Г. ЗАИЧНЕВСКИЙ
Фотография, 1863 г.
Исторический музей, Москва

На отдельном листке:

Напишите мне, пожалуйста, какого вы мнения о том, что я предлагаю и вам, и ЦК с тех самых пор, как приехал в Турцию; а именно:

a) об устройстве постоянных путей;

b) об усиленном распространении ваших изданий в России;

c) о доставлении средств нашим русским друзьям помогать нам в нашей агитации в расколе и

d) об учреждении чисто *агитационной* прессы, которая печатала бы все, что может производить волнение в массах, откинув совестливость людей, желающих только то говорить, что согласно с теорией.

Я желаю знать подробное мнение ваше, для того чтобы иметь в вас союзника или еще раз вступить с вами в переписку и либо себя признать побежденным, либо вас заставить согласиться с собою. Я серьезно не надеюсь, чтоб дело могло идти не на шутку до тех пор, пока мои требования не будут удовлетворены. Что значит ваша проповедь, когда она не проходит в Россию? — глас вопиющего в пустыне. Кто спасет Россию, если ваших изданий не будет в ней? — наша партия? но она слишком мала; наша пропаганда между молодежью, которая, присоединясь, может усилить нашу партию? но где эта пропаганда, когда *я* не видал «Колокола» в России. Пропаганда в народе? но какая может быть пропаганда в народе, когда никто из русских агитаторов не знаком со старообрядцами, когда только Катковы да Бабсты [14] ораторствуют между ними, когда собственно для народа не существует до сих пор ни одной книги, когда в нашей революционной библиотеке, кроме двух-трех сочинений, все такие вещи, как «С того берега» или «За пять лет»! Таким порядком дело не может идти. Я жду вашего письма об этом предмете.

Не знаю, написал ли брат письма к старообрядским епископам. Он все откладывал да откладывал, пока я был в Стамбуле. В сущности, этим письмам нужно бы было идти в одно время с моими. Судя по тому, что брат мне ни слова не написал в Тульчу, я предполагаю, что бедственное положение, в котором я его оставил, ничуть не изменилось; следовательно и письма еще не писаны. Поэтому я предлагаю вам самим написать их: напишет брат от себя, ваши письма не помешают; а нет — так тем более. Если будете писать, то пошлите московскому епископу [15] через Центральный комитет и его московских агентов. Настоятельно нужно сблизить наших со старообрядцами, чтобы нейтрализировать, по крайней мере, влияние всей этой продавшейся сволочи [16], которая едва ли не энергичнее наших. Передача писем поможет этому сближению. Москвичам я подробно напишу, как должны они держать себя с раскольниками, и пошлю это письмо к ним через ваши руки. Если те люди, которые теперь остались в Москве, и будут неспособны, все же на этом останавливаться нельзя: пускай Центральный комитет пришлет для этого дела нарочных. Начатое вами дело необходимо требует, чтобы мое предложение было исполнено: одними письмами, без попыток личного влияния на старообрядцев, мы ничего не поделаем.

К этому письму я прилагаю другое, которое я прошу вас переслать через Центральный комитет в кружок Заичневского и Аргиропуло [17], или кому-нибудь из агентов общества «Земли и воли» в Москве, знающих меня лично. В этом письме я пишу о своих личных делах, а также и о кой-каких общественных. Извините, что я так часто утруждаю вас своими поручениями: все не могу еще завести непосредственных сношений с Москвою. Прошу уж, чтобы хоть симпатическими чернилами писали. Прощайте. Пишите ко мне и не забывайте меня. Крепко жму руки всем вам.

И. Кельсиев

Список номеров «Колокола» и «Общего веча», которые просят меня выписать в Тульчу.

1862 года	№ 122	«Колокола»	в	2	экземплярах
»	№ 124	»	»	2	»
»	№ 126	»	»	2	»
»	№ 131	»	»	2	»
»	№ 132	»	»	3	»
»	№ 134	»	»	3	»
»	№ 141	»	»	2	»
»	№ 145 и 146	»	»	⟨4⟩	»
»	№ 150	»	»	2	»

Всего 22 экземпляра «Колокола»

1862 года	№ 1	«Общего веча»	в	3	экземплярах
»	№ 2	»	»	3	»
»	№ 3	»	»	2	»
»	№ 4	»	»	2	»
»	№ 5	»	»	2	»
»	№ 6	»	»	2	»
»	№ 7	»	»	2	»

Всего 16 экземпляров «Общего веча»

№ 13 листка «Под суд!», приложенный к № 130 «Колокола», в 2 экземплярах.

Кроме того:

«Народное дело» М. А. Бакунина, в 5 экземплярах.

«Русским, польским и всем славянским друзьям», его же, в 5 экземплярах.

[1] Разумеется, слова Кельсиева об «изуверных крестьянах» и о «правоте» Фета являлись неудачным выражением досады молодого революционера; никакой близости с консервативными взглядами Фета у Кельсиева быть не могло, и одобрять его идейные позиции он не мог. Фет смотрел на помещиков, как на проводников культуры, якобы играющих в пореформенной деревне прогрессивную роль. Эти реакционные мысли были развиты Фетом в очерках «Из деревни», опубликованных в №№ 1 и 3 журнала «Русский вестник» за 1863 г.

[2] Столкнувшись с классовым расслоением крестьянства, — а это явление в пореформенное время стало принимать массовые размеры, — Кельсиев не сумел правильно истолковать его и сделать из наблюдаемых им фактов верные выводы.

[3] *«Велик бог земли русской!»* — очерк этнографа-беллетриста П. И. Якушкина, напечатанный в журнале «Современник», 1863, № 1, стр. 5—54. Слов, поставленных Кельсиевым в кавычки, в действительности в этом очерке нет. Но мысль, сформулированная Кельсиевым, хорошо передает основное содержание очерка: в нем ярко показано бесправие крестьян, которое сохранилось и после реформы 1861 г., а также их неумение противодействовать многочисленным беззаконным поступкам сельских властей, надругательствам со стороны помещиков и чиновников.

[4] *Михайлов* — вероятно, Владимир Михайлович Эберман, род. в 1842 г., в Нижнем-Новгороде. Эберман одно время работал наборщиком в типографии Герцена в Лондоне. О нем и о его связях с Левестамом подробно писал В. И. Кельсиев в «Исповеди». Левестам, выходец из России, бывший комиссариатский чиновник, был приговорен (по делу, неизвестному нам) к смертной казни во время Крымской войны. Эберман сблизился с Левестамом и, как сообщает В. И. Кельсиев, был им разорен. Тогда «с голоду» Эберман «предложил себя в шпионы». Это сделалось известным, и русская революционная эмиграция стала избегать общения с Эберманом. Позднее он оказался в Тульче учителем в молоканской школе. «И там ему не повезло, отчасти по моей вине и по требованию Герцена сбыть его с рук куда-нибудь» («Исповедь», стр. 291). В 1866 г. Эберман уехал в Россию. Когда Кельсиев писал настоящее письмо, ему, как это явствует из следующего письма, еще не были известны подозрения относительно Эбермана.

[5] *Золотовская метода* — обучение грамоте по методу известного русского педагога Василия Андреевича Золотова (1804—1882), автора многочисленных учебников и пособий для начальной школы, в том числе «Таблицы взаимного обучения» и др.

[6] *Алексей Васильевич*—Никитин, купец; назван В. И. Кельсиевым в числе лиц, стоявших во главе тех тульчинских молокан, которые считали себя хранителями старого молоканского учения С. Уклеина («Исповедь», стр. 391).

[7] *«Сын отечества»* — газета, издававшаяся с 1862 г. А. В. Старчевским в Петербурге. До этого года им же издавался под тем же названием журнал.

[8] *Семен Федоров* — выходец из Тамбовской губернии; он вместе с А. В. Никитиным стоял во главе тульчинских молокан. О Семене Федорове В. И. Кельсиев отзывался в своих воспоминаниях как о своем «закадычном друге и приятеле» (см. «Пережитое и передуманное», стр. 288, «Исповедь», стр. 391).

[9] *На слова государя нельзя полагаться* — здесь Кельсиев имеет в виду слова Александра II, сказанные им в ответ на верноподданнический адрес, который 17 апреля ст. ст. 1863 г. поднесла ему делегация старообрядцев, состоявшая из крупных капиталистов (об этом адресе и делегации см. «Общее вече», №№ 17 и 18 за 1863 г.). Слова Александра II содержали общие заверения в том, что старообрядцы близки его сердцу. Реакционная печать широко использовала эту речь Александра II для монархической пропаганды среди старообрядцев.

[10] Старообрядцы, которые отказывались признавать Белокриницкую иерархию и принимали к себе священников, переходивших из господствующей церкви.

[11] *Липованами* обычно называли русских старообрядцев, живших за границей.

[12] О брошюре Кельсиева и его статьях в «Общем вече» нам ничего неизвестно.

[13] *И. Яни* — имя, под которым укрывался Иван Кельсиев в России после побега из тюрьмы.

[14] В сообщении из Москвы, помещенном в № 17 «Общего веча» от 1 июня 1863 г., рассказывалось, что московские старообрядцы заказали М. Н. Каткову и И. К. Бабсту текст верноподданнического адреса для подношения царю. Был выбран и поднесен царю адрес, текст которого написал Бабст.

[15] Старообрядческим епископом Московским и Владимирским был тогда Антоний (Андрей Иларионов Шутов). О нем см. в публикации писем В. И. Кельсиева в этом же томе, примеч. 11 к письму № 3 от 2 июля/20 июня 1863 г.

[16] Кельсиев имеет в виду журналистов типа М. Н. Каткова и И. К. Бабста, которые оказывали влияние на буржуазную верхушку старообрядчества (см. примеч. 14).

[17] Известный революционный кружок, организованный студентами Московского университета П. Г. Заичневским и П. Э. Аргиропуло. Оба руководителя кружка в 1861 г. были арестованы. В 1863 г., когда писалось это письмо, Аргиропуло уже не было в живых (он умер в 1862 г.), а Заичневский находился на каторге.

5

ОГАРЕВУ

Тульча. ⟨Март 1864 г.⟩

Вы, вероятно, решительно теряетесь в догадках о причине моего молчания; а причина этого молчания изо всех простых причин наипростейшая: недостаток денег на отправку письма. Я долго бедствовал, мой почтенный друг, сначала один, потом с братом. В ту минуту, когда я послал к вам мое последнее письмо [1], мое положение переставало быть отчаянным, и только потому я и решился писать к вам; я надеялся, что с следующей же почтой я буду в состоянии отправить вам другое, более отрадное и более покойное. И в самом деле, мое положение вскоре улучшилось: через несколько дней я открыл школу для детей здешних малороссиян. Первым же делом было для меня уведомить вас о перемене моего положения; я написал к вам тогда длинное письмо, которое, чтобы не повторять теперь всего, что в нем сказано, прилагаю при этом [2]. Однако школа моя пошла так плохо, что я никак не мог уделить несколько левов из своего скудного revenue * на покупку почтовой стампы. Так это письмо и пролежало до приезда брата и настоящей минуты.

С утра и до ночи работа каторжного; ночью вместо сна мучительный кошмар; буквально один хлеб в награду за все усилия; холод и сырость, отсутствие книг, белья, бумаги; кругом невежество, самое неслыханное, грубость, предрассудки и наглость, самые возмутительные; ни малейшей надежды на то, что можно исправить общество, окружающее меня, вразумить его, дать ему понять, в чем его выгоды, что ему нужно, — вот

* дохода (франц.).

то положение, в котором я находился до приезда моего брата. Выпутаться из омута, в который я попал, было невозможно: во-первых, не к кому было обратиться; во-вторых, я был занят с утра и до ночи, я не имел ни одной свободной минуты.

Школа моя шла скверно; я прилагал все свое старание, работал, как ломовая лошадь, но никто не замечал моих стараний, никто не пытался улучшить моего положения, зато всякий считал своей священной обязанностью быть недовольным мною. Учеников у меня ни разу не было более десяти, — приведут одного, а другого возьмут: тот тем обижается, что

БЮСТ ГЕРЦЕНА В ПАРКЕ НОВОГО ЗДАНИЯ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА НА ЛЕНИНСКИХ ГОРАХ

Скульптура С. Т. Коненкова. Гранит, 1953 г.

я не бью ребятишек; тот тем, что будто бы у меня скамьи в школе нетесанные, — платье у хлопца рвется; тот тем, что не все праздники соблюдаю, тот тем, что соблюдаю все праздники, und so weiter, und so weiter *. По десяти левов с хлопца, с десяти хлопцев — сто левов; за квартиру 25 левов, хлеба в день съесть никак не меньше как на лев; вот тут и считайте, как знаете.

Приехал, наконец, брат, совершенно разоренный, но с поручениями от правительства и с определенным жалованьем [3]. Дня через три после его приезда мы получили деньги от вас [4], и они пришлись как нельзя более кстати; они послужили краеугольным камнем нашему хозяйству. В это время расхворалась Варвара Тимофеевна, и, не будь этих денег, нам было бы очень тяжело. Письмо ваше пришло несравненно позже.

Мы наняли квартиру и начали кой-как обзаводиться; сначала было трудно, приходилось самим и стряпать, и прибирать, и мести, и таскать воду. Брат занялся тотчас же адвокатством, и положение наше стало улучшаться день ото дня. Между тем мне мои малороссы и моя школа опротивели до того, что я решился их бросить. Тут на счастье подвернулось знакомство

* и так далее, и так далее (нем.).

с здешним методистским миссионером, и я перешел в его школу[5], где я и во сто раз полезнее и во сто раз больше имею покоя.

Несколько раз мы принимались писать вам в течение этого времени, но, как назло, в почтовые дни у нас ни одной пара[6] не случалось. И теперь я еще не вполне уверен, что нам удастся отослать письма с этой почтой.

Вы мне писали в вашем письме, чтобы я брался за первую работу, которая в руки попадется. Вы видите, что я не прочь от того, только как же мне не тосковать и не мучиться? Я взялся за работу, потому, что нужно что-нибудь есть, а какая из того польза для нашего дела? Вы говорите, что рабочие люди уважают хорошего и способного работника; полноте, они только пьянствуют, а никого не уважают, разве только того, кто их колотит; в их душах не обретается вовсе таких деликатных чувств, как уважение и любовь, в их головах шевелится только одна мысль при виде хорошего работника: как бы, мол, получше оседлать его. Чтобы иметь на них влияние, нужно иметь силу или возможность освободить их от вечного ярма, в котором они ходят. Сам же по себе труд не имеет никакой привлекательности, и мне всякий труд в самом себе противен: я хочу достигнуть до осуществления своего идеала, а не просто шевелить руками. Как мне было не унывать, — то печальное обстоятельство, которое пугало меня, сбылось: вот я в течение целых месяцев отрезан от нашего дела, не имею ни одной строчки из России. Для чего же мне было и бежать? Не лучше ли бы сидеть мне в тюрьме? В пустой комнате гораздо веселей сидеть, чем в этой Тульче; а ссылка, — что мне ссылка! В России нет таких уездных городишек, в которых общество было бы невыносимее, тупее и пошлее, чем здешнее! И нужно же было, чтобы все это случилось в такое время, когда ни одного живого голоса не слышно в России, когда так ужасно высказалась вся безнравственность, грязь и рабство русского общества, когда в газетах только и толку, что о Польше, а теперь — это еще ужаснее — и толки о Польше притихли.

Мы хотим с братом устроить здесь общину русских эмигрантов. Мы просим вас извещать об этом всех и каждого. Сегодня мы уже ходили осматривать продажное место, которое хотим купить под будущий фаланстер. В настоящее время двум человекам найдется у нас место, как ни помяты наши крылья житейскими бурями этой зимы: кто хочет разделить с нами наши труды и невзгоды, милости просим.

В моих глазах цель эмиграционной фаланги такова: 1) цивилизование тульчанского юношества для подготовки пропагандистов; для этого нужно устроить при фаланстере школу и воспитательный дом для приемышей; мы уже приняли к себе одного мальчика и пока очень довольны им; 2) пропаганда в России всеми путями и всеми средствами; 3) приют для всех, кого служение нашему делу заставит покинуть Россию. Я буду писать подробно об этом деле в Центральный комитет и попрошу вас переслать это письмо.

Хорошо бы было, если бы кто-нибудь пожертвовал на это дело деньги или если бы присоединился к фаланге какой-нибудь достаточный человек. Дешевизна в Тульче доходит до невероятных размеров, и с самым маленьким капиталом здесь можно устроиться очень и очень недурно. Тульча — хлебный уголок; здесь новые места, глушь и дичь, сюда нужно колонизироваться, как в какую-нибудь Калифорнию, в Техас или в Австралию. Брат имеет связи в Порте, в Тульче имеет голос и влияние, — это дает нам надежду на то, что голодать мы скоро совсем перестанем. Если бы только маленький капитал, рублей в тысячу, в две, то можно бы было заняться рыбными ловлями, мельницами и много еще кой-чем. Тульча— хорошее место: народ глуп, а природа богата; если мы приютимся здесь, то наши русские друзья будут надолго обеспечены от подобных бедствий на чужой стороне, которые нам с братом довелось теперь испытать.

Гижицкий[7] писал мне, что он сильно бедствует в Швейцарии. По той же причине, по которой я не писал к вам, я не мог написать ему. Теперь я прошу вас переслать ему прилагаемую при сем записку, в которой я прошу его употребить все старания к тому, чтобы как-нибудь достать денег на выезд и приезжать к нам. Мы ждем его с нетерпением как первого члена нашей фаланги; пусть он поторопится на почин.

Крепко жму вашу руку и прошу вас писать к нам как можно скорее и как можно подробнее. Не вините меня за мое молчание, потому что не я был причиной его.

Иван Кельсиев

P. S. При этом письме вы найдете записку Эбермана, которую он просил нас христом-богом переслать к Левестаму [8]. Если вас это не слишком затруднит, то передайте ее г. Тхоржевскому и попросите его отдать ее Левестаму. Я только по приезде брата узнал некоторые подробности из жизни Эбермана в Лондоне и очень удивился им: Эберман, должно быть, сильно переменился с тех пор; пока я не услышал от брата рассказа об его похождениях, я никак не предполагал, чтобы Эберман был способен к подобным поступкам. Эберман, прежде всего, бесхарактерен, а бесхарактерные люди в тяжелые минуты способны выкидывать всевозможные коленца, да и вообще причина всех преступлений есть бесхарактерность. И если побивать каменьями всех бесхарактерных — не есть долг и обязанность честного человека, то мы не обязаны добивать и Эбермана. Тем более, что он сильно подавлен своим прошедшим.

[1] Речь идет о письме № 3.

[2] Речь идет о письме № 4.

[3] Об обстоятельствах, при которых турецкое правительство назначило Василия Кельсиева казацким головой или атаманом (казак-баши) в Добрудже, он сам подробно рассказал в «Исповеди» (стр. 371—373) и в публикуемых выше письмах. Он выехал в Тульчу из Константинополя 7 декабря 1863 г.

[4] Герцен послал сто франков Ивану Кельсиеву в декабре 1863 г., через Жуковского, и шесть фунтов стерлингов Василию Кельсиеву, через С. Иордана, в январе 1864 г. (XVII, 132).

[5] О переходе Ивана Кельсиева в миссионерскую методистскую школу подробно рассказано в «Исповеди» Василия Кельсиева (стр. 379). Эта школа была организована американским миссионером Ф. И. Флокеном.

[6] *Пара̀* — мелкая монета, равна $^1/_{40}$ пиастра (пиастр — около 6 копеек), или $^1/_{4000}$ турецкой лиры.

[7] О Е. К. *Гижицком* см. выше, на стр. 204.

[8] Об *Эбермане* и его отношениях с Левестамом см. выше, на стр. 249. Вероятно, именно об этой записке Эбермана Герцен писал сыну 25 марта 1864 г. (XVII, 141).

ПРИЛОЖЕНИЕ

И. И. КЕЛЬСИЕВ — В. Т. КЕЛЬСИЕВОЙ

Два письма, посланные И. И. Кельсиевым жене его брата, Варваре Тимофеевне Кельсиевой, жившей тогда с дочерью в Лондоне, посвящены описанию его побега из московской тюрьмы (Пречистенского частного дома) и отъезда из России. Оба письма написаны в первые дни пребывания в эмиграции — в Константинополе, куда Кельсиев приехал 2—14 июля 1863 г.

Описание побега Кельсиева содержалось и в ранее опубликованном его письме к Ел. В. Салиас (см. «К биографии И. И. Кельсиева». Публикация И. Зверева.— «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 105—110), но во втором письме к В. Т. Кельсиевой оно дано значительно более подробно. Обстоятельства тайного выезда Кельсиева за границу представляют интерес в связи с тем, что по дороге он вступал в сношения с местными революционными организациями (см. введение к настоящей публикации).

Дополнением к описанию побега Кельсиева из тюрьмы могут служить полицейские документы, связанные с этим событием и опубликованные в книге: «Политические

процессы шестидесятых годов» под ред. Б. П. Козьмина (М.—Пг., 1923, стр. 133—136).

В. Т. Кельсиева приехала в Константинополь в конце августа 1863 г. (XVI, 466).

Письма печатаются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 153).

1

(Константинополь 16/4 июля 1863 г.)

Мой добрый старый друг! Вас, вероятно, очень удивит то, что вы узнаете сейчас из этого письма. Я воскрес и вышел из гроба, в котором был заключен в течение десяти месяцев. Я бежал из тюрьмы и третьего дня прибыл в Константинополь [1]. Бежать я давно уже собирался, и только 25 мая мне удалось бежать. Я пропилил решетку, после двухнедельной работы, и ночью спустился по веревке. Паспорт заграничный я достал спустя две недели после бегства, а эти две недели я прожил в Москве. Паспорт взят одним моим знакомым, который объявит теперь, когда все уже кончено, что паспорт потерян им. Я ехал через один из южных портов, на Константинополь. Случай заставил меня избрать этот путь: я не поехал через Петербург потому только, что меня искали в Петербурге. Третьего дня я прибыл в Константинополь, с твердым намерением тотчас же отыскать английский корабль и перебраться на него. Я хотел сделать так, потому что думал, что брат все еще в Лондоне, и потому, что слышал, будто русский посланник имеет право арестовать меня здесь. Случай привел меня в русскую гостиницу, хозяин которой знал брата, случай же заставил меня разговориться с ним о брате. Хозяин гостиницы сказал мне, что брат здесь, и я тотчас же стал искать его, и к вечеру я уже был у него. Радость нашу при свидании нельзя вам описать. Как жалеем мы оба, что вас здесь нет. Если бы не случай, я уже ехал бы к вам.

Мы до сих пор не можем опомниться от радости. В голове у меня такой сумбур, что вы и представить себе не можете. Брат таскает меня ко всем своим знакомым и показывает меня, словно какого чудного заморского зверя. Он не пишет к вам сегодня, а поручил мне уведомить вас об этой новости. Он почти вовсе не ждал меня и потому еще более поражен встречею, чем я.

Когда-то вы приедете к нам!

Простите, что я так мало пишу. Я не пришел еще в себя от радости о свободе, о свидании с братом, о возможности новой борьбы, а тут еще эта неумолчная суета и движение, которые охватили меня со всех сторон в Константинополе: узкие улицы, чалмы, фески, носильщики, ослы, говор, шум, беготня — все это на меня, просидевшего десять месяцев в четырех стенах, производит впечатление какого-то кошмара.

Крепко, крепко жму вашу руку и жду письма от вас. Со следующей почтой напишу вам все обстоятельно. А пока до свидания.

Ваш Иван Кельсиев

Засвидетельствуйте мое глубочайшее почтение Александру Ивановичу и скажите, что я скоро буду ему писать о кой-каких делах. Не в Лондоне ли теперь Жуковский [2], бежавший в прошлом году? Если он там, то скажите ему, что Леон. Ив. Раг. из Н.-Новг. [3] кланяется ему и просил меня посоветовать ему от его имени, чтобы он не исполнял своего обещания о напечатании средств и путей к бегству из России.

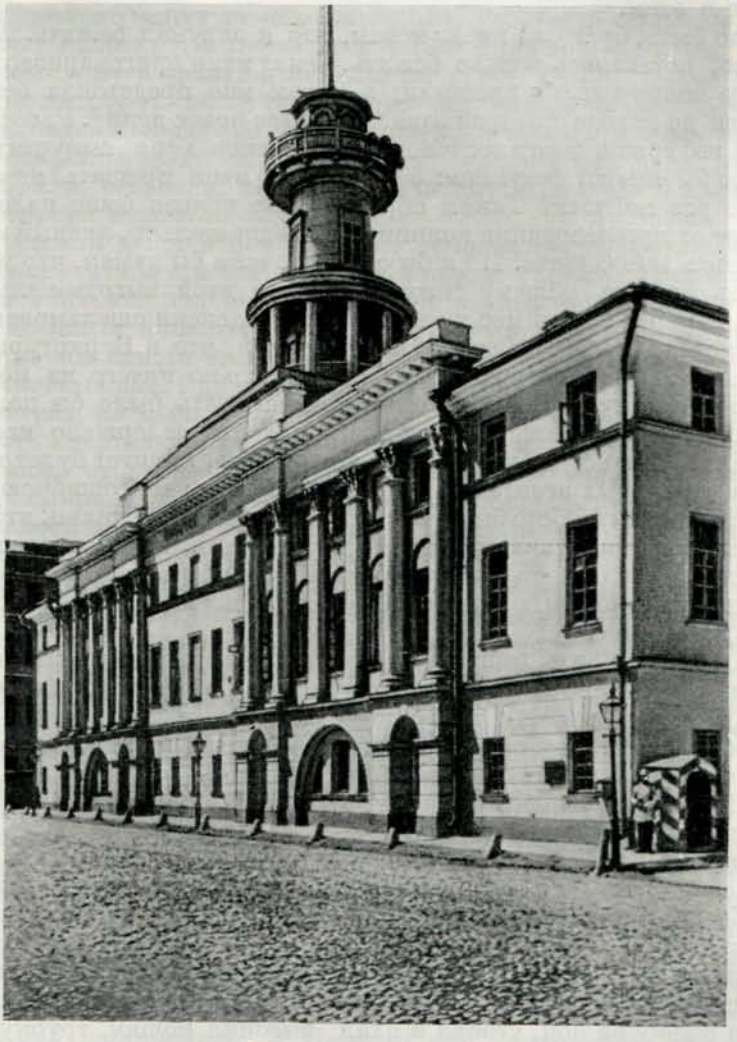
Еще раз прощайте. Поцелуйте от меня вашу Малушу [4].

[1] В Константинополь Кельсиев прибыл 14/2 июля 1863 г. Отсюда дата письма.

[2] О Н. И. *Жуковском* см. выше во вступительной статье к публикации его писем. В это время он жил в Женеве.

[3] Возможно, что речь идет о брате революционного деятеля Виктора Ивановича Рагозина, жившего в Нижнем-Новгороде и привлекавшегося по делу своего родственника П. А. Шипова и И. И. Кельсиева.

[4] *Малуша* — дочь В. И. и В. Т. Кельсиевых.



ЗДАНИЕ ПРЕЧИСТЕНСКОЙ ЧАСТИ В МОСКВЕ (ТЕПЕРЬ УЛИЦА КРОПОТКИНА, № 22)

Здесь «под каланчей» с 21 июля по 5 сентября 1834 г. содержался после ареста Герцен. Отсюда же в ночь на 25 мая 1863 г. бежал И. И. Кельсиев

Фотография, 1890-е гг.

Литературный музей, Москва

2

(Константинополь. Вторая половина июля 1863 г.)

Я сильно сомневаюсь, многоуважаемая Варвара Тимофеевна, в том, что вам пришло в голову сходить на почту и справиться, нет ли к вам писем, так что вы узнаете только из этого письма о новых моих похождениях и о том, что я теперь живу вместе с братом в Константинополе. Я обе-

щал в том письме описать вам подробно все, что со мной случилось в это время, а там я только в кратких словах рассказывал о моем чудесном избавлении из московских сибирок; таким образом, вы ничего не потеряете, если не будете брать с почты мое первое письмо: все, что написано в нем, вы найдете и в этом.

Должно быть, брат уже писал к вам, что я задумал бежать. Мне, действительно, оставалось только бежать. Сенат меня приговаривал к шестимесячному заключению в крепости, а потом мне предстояла бессрочная ссылка, еще до исхода которой завязалось мое новое дело [1]. Рассчитывать, что после выдержки шестимесячного заключения меня выпустят на свободу, было бы чистым безумием: за что было меня прощать? не за то ли, что я еще раз попался? Таким образом, мне нельзя было надеяться на избавление от преследования полиции, и, следовательно, личный мой интерес советовал мне бежать. Но я бы остался, если бы думал, что могу быть чем-нибудь полезен общему делу; однако и этой выгоды нельзя было ожидать: во-первых, имя мое уже до крайней степени ошельмовано в России, во-вторых, по собственному опыту я знал, что в Верхотурье [2], куда мне снова предстояло возвращаться, я решительно ничего не мог делать по разным обстоятельствам, которые рассказывать было бы долго.

Образование Центрального комитета надолго задержало исполнение моего плана. Мне все думалось, что, может быть, комитет будет нуждаться в провинциальных агентах, и тогда непростительною ошибкою было бы бегство. После долгой борьбы с самим собою я увидал, однако, что не могу быть ничем полезен планам Комитета в том месте, которое предназначалось мне для жительства. Чтобы окончательно примириться с своей совестью, я посылал спросить мнение Комитета о моем плане; Комитет одобрил мое намерение.

Тогда я стал пилить решотку. Пилить приходилось почти только по ночам. Окно, избранное мною для бегства, было в конце коридора, в который выходили двери как от моего номера, так и от того, в котором жил тюремщик. По коридору шум, производимый моим напилком, так увеличивался, что подле комнаты тюремщика казалось, будто бы кто в трубу трубит. При таких неблагоприятных условиях ничуть не мудрено, что дело протянулось на две недели.

К ночи с 24 на 25 мая все было готово. Я велел себя ждать с десяти до двух часов ночи. Однако пришлось бежать гораздо позже. Тюремщик, против обыкновения своего, просидел до двенадцати часов ночи. Потом он пришел еще разговаривать ко мне. Я его мог выпроводить только тем, что разделся и лег в постель, как бы собираясь спать. Он ушел к себе и тоже лег; но еще в продолжении целого часа, я думаю, я все слышал, как он ворочался с боку на бок, стонал и охал, выгонял кошку, трубку закуривал и т. д. Когда он, наконец, успокоился, то поднялась какая-то суматоха на дворе; бегали по двору с фонарями, отыскивали что-то. Словом, ночи, более неудобной для бегства, я никак не ожидал.

Когда все успокоилось, то начинало уже светать. Я встал, оделся, снял с своей полки книги, отвязал веревку, на которой была привязана полка; все это должно было делаться без малейшего шуму, так как малейший шелест в моей комнате слышен тюремщику. Затем я приступил к решотке. Нужно было выставить два стекла, сломать перекладину между ними и потом выломать уже достаточно подпиленный брус из решотки. Когда оставалось только выломать этот брус и навязать веревку, было уже так светло, как днем. После долгих усилий мне удалось сломить брус, который, сильно погнувшись под первым натиском, долго не двигался ни в ту ни в другую сторону. Я навязал веревку и полез; сначала было завяз в отверстии и, до половины высунувшись из окна, долго бился, пока мне удалось повернуться так, что можно было совершенно вылезть. Веревка ли

была тонка, или силы у меня не хватило, только руки у меня соскользнули, и я почти упал, ободрав себе все ладони. Тотчас же я добежал до забора, перелез на соседний двор, оттуда перелез на улицу и пошел к тому месту, где должны были меня ожидать. Но два часа давно уже прошли, и оставалось только несколько минут до четырех. Я взял извозчика и поехал на назначенную мне квартиру, хозяева которой не были мне знакомы. На дворе дома, к которому я приехал, не было ни души, все еще спали. С полчаса я ходил по двору, не желая беспокоить жильцов. Наконец, растворилось окно, и господин в шлафроке спросил, кого мне нужно. Я назвал фамилию. «Это я», отвечал мне он. «В таком случае отворите мне дверь». Тотчас же меня выбрили, остригли, выкрасили волосы, дали очки и одели в форменный сюртук межевого ведомства.

Пока успели достать мне паспорт, прошло две недели. В это время я переходил сначала с места на место, а потом, убедясь, что я совершенно безопасен в Москве, около недели жил у одного приятеля. На след мой ни разу не могли напасть, а имели только удовольствие упустить меня однажды из-под самого носа. Я сидел однажды у открытого окна в одной из подмосковных дач. Вдруг я вижу, что против окна стоит какой-то господин и смотрит на меня. Я взглянул на него пристально и узнал в нем переодетого квартального надзирателя той части, в которой я был заключен. Я отошел от окна; квартальный, вероятно, не узнавший меня, остриженного, выкрашенного и облаченного в офицерский мундир, пошел, глазея по всем окнам и дверям дальше. Как только он отошел, я накинул шинель и тотчас же уехал в Москву.

Московская полиция очень глупа. Поэтому мне не стоило большого труда отвести ей глаза от места, где я скрывался. Я написал письмо гр. Крейцу о кой-каких вещах, оставшихся в моем номере, но принадлежавших не мне, и дал одному товарищу свезти его в Петербург и оттуда послать его по почте. Полицейместер попался на удочку и незадолго перед отъездом я получил известие из его канцелярии, что меня уже бросили искать в Москве и ищут в Петербурге.

По железным дорогам мне было опасно ехать. В московских вокзалах при отъезде, как и при прибытии поездов, присутствует полиция, а в Москве меня, кажется, всякий будочник знает. Поэтому, как ни дорого было мне время, а я принужден был сделать крюк. Я поехал в дилижансе на Ярославль, а оттуда по Волге, на Нижний. В Нижнем мне нужно было получить деньги, и я должен был там остановиться. Остановился же я там у человека, который не должен был знать, кто я. А до него уже дошли слухи, что Кельсиев бежал; он меня все время расспрашивал о Кельсиеве и его бегстве, а я ему рассказывал о Кельсиеве, как о человеке, решительно мне постороннем. В Нижнем мне приходилось ждать три дня отбытия парохода, и я, чтобы не сидеть на одном месте это время, поехал в Балахну; там пробыл один день, а потом отправился назад, сел на пароход и поехал дальше. Мне пришлось ехать с одним из моих старых училищных товарищей. Он лет пять не видел меня, но узнал меня и спросил, не Кельсиев ли я? Я отвечал отрицательно, и мы дня четыре ехали вместе, как люди незнакомые друг другу. В Таганроге мне пришлось ждать парохода шесть дней! Но все обошлось благополучно, и 27 июня я сел на пароход. В Константинополь я прибыл 2 июля. Не можете представить, какое волнение овладело мною, когда пароход бросил якорь. Я так и ждал, что меня арестует консул. Но вот подплыли баркасы. Я бросился в первый из них и скорей оттолкнул его от парохода. Вторая пропиленная решотка осталась за мною...

Однако я все еще опасался. Я никак не мог добиться положительных сведений о правах русского посольства в Турции на нашего брата, беглеца. Одни говорят, что он имеет право арестовать русского подданного

в Константинополе, другие — что не имеет. Я остановился в русской гостинице, хозяин которой знавал брата. В его магазине я увидел несколько лондонских изданий и спросил его: нет ли у него чего-нибудь из изданий Кельсиева. Разговорились о брате. Хозяина поразило мое сходство с братом; он догадался, кто я такой, и прямо сказал мне, что я брат Василия. Я отперся, но сказал, что знаю Кельсиева и желал бы видеть его. Хозяин сказал, что он не знает наверное, где он теперь, и не ручается, все ли он еще в Константинополе. Я просил его разузнать, а сам ушел.

Я думал просить покровительства английского консула, так как в Англии я был намерен поселиться. С этой целью я пошел в английское консульство. Я сказал консулу, что я бежал из России, где правительство преследует меня за мои политические мнения. Англичанин повернулся ко мне спиной и сказал, что эти дела его не касаются, что я могу отправляться в Англию, если хочу искать покровительства английских законов. Я попросил тогда: пусть он хоть совет мне даст, как мне поступать и чего мне опасаться. Он отвечал, что и советов он мне никаких не может давать, и отошел от меня с такой равнодушной миной, какая была бы прилична разве только в том случае, если бы я к нему только затем и подходил, чтобы закурить папиросу.

Возвратясь домой, узнал от хозяина, что брат здесь, но что неизвестно еще, где он живет. Я узнал адресы нескольких русских, которые знакомы с ним, и пошел разыскивать. Адрес я узнал, но брата не застал дома. Я приказал на его квартире передать ему по его приходе, что приехал русский, который очень желает его видеть; остановился, дескать, там-то и там-то. Возвратился домой и стал ждать. Прошло часа полтора, как почти прилетел Василий, которому предчувствие сказало, кто его ищет...

Познакомился здесь с польскими эмигрантами и с небольшим кружком русских, проживающих здесь. Меня сильно затрудняет пока незнание французского языка. Со многими я еще немой. Французский и немецкий языки я знаю настолько, насколько это нужно, чтобы читать книги. Я понимаю решительно все, но за совершенным неимением практики я не мог в России приучить себя хоть несколько свободно изъясняться на этих языках. Впрочем, я скоро надеюсь говорить по-французски.

Крепко, крепко жму вашу руку. Рассказать мне вам еще пропасть чего надобно. Позвольте, однако, кончить на этот раз. Что я думаю делать и чем жить — вы узнаете из следующих писем. У меня голова теперь в сильном беспорядке, и потому ни о чем серьезном я писать не могу.

Брат ваш Иван Кельсиев

[1] О суде над И. И. Кельсиевым см. выше вступительную статью к публикации его писем к Герцену и Огареву.

[2] *Верхотурье* — уездный город Пермской губернии на реке Туре, куда Кельсиев был сослан в феврале 1862 г.